

Жан-Поль Сартр

Детство хозяина

«Я очарователен в моем костюмчике ангела». Госпожа Портье сказала маме: «Ваш малыш просто милочка. Он очарователен в своем костюмчике ангела». Господин Буфардьё поставил Люсьена меж своих колен и погладил его ручки. «Вылитая девочка, – улыбаясь, сказал он. – Как тебя зовут? Жаклин, Люсьена, Марго?» Люсьен покраснел и ответил: «Меня зовут Люсьен». Он уже сомневался в том, что он не девочка: многие взрослые целовали его, называя «мадемуазель», и все находили, что он просто прелесть, со своими крылышками из газа, в длинном голубом платье, с голыми ручонками и золотистыми кудряшками; он боялся, как бы люди не решили вдруг, что он больше не мальчик; и напрасно бы он возражал, никто его не стал бы слушать, ему разрешили бы снимать платье только перед сном, а проснувшись утром, он находил бы его возле своей кровати, и днем, если бы захотел пипи, ему пришлось бы задира́ть его, как Ненетте, и присаживаться на корточки. Все называли бы его «милрой крошкой»; «может быть, это уже случилось и я действительно девочка»; он чувствовал себя в душе таким изнеженным, что ему самому было чуть-чуть противно, он говорил каким-то тоненьким голоском и протягивал всем цветы мягкими плавными жестами; ему очень хотелось поцеловать себе изгиб локтя. Он думал: все это понарошку. Ему нравилось, когда все было понарошку, поэтому в последний день Карнавала он сильно расшалился: его нарядили в костюм Пьеро, он бегал, прыгал и кричал вместе с Рири, и они прятались под столами. Мама легонько шлепнула его лорнетом. «Я горжусь моим мальчиком». Она была величественная и красивая, самая полная и высокая из всех дам. Когда он пробежал мимо длинного буфета, накрытого белой скатертью, папа, который пил здесь шампанское, поднял его в воздух и сказал: «Мужчина!» Люсьену захотелось заплакать и ответить: «Нет!»; он попросил оранжада, потому что тот был холодный, а ему не разрешали его пить. Ему налили на доньшко в маленькую рюмочку. Оранжед отдавал горечью и был совсем не холодный; Люсьен вспомнил о лимонадах с касторкой, которыми его поили, когда он сильно болел. Он разрыдался и утешился лишь в автомобиле, сидя между папой и мамой. Мама прижимала Люсьена к себе, она была теплая и душистая, такая мягкая. Изредка салон авто становился белым, как мел, Люсьен щурил глаза, фиалки у мамы на корсаже выступали из тени, и Люсьен сразу же вдыхал их аромат. Он похныкал еще немного, но почувствовал, что ему стало потно и щекотно, что он почти такой же липкий, как оранжад; ему захотелось поплескаться в своей маленькой ванночке и чтобы мама потерла его резиновой губкой. Ему позволили лечь в спальне папы и мамы, как бывало, когда он был грудным; он смеялся, скрипя пружинами кровати, а папа сказал: «Ребенок перевозбужден». Он выпил немного апельсиновой воды и увидел папу в жилете.

На следующий день Люсьен был уверен, что он о чем-то забыл. Он отлично помнил сон, который ему приснился: папа и мама были в ангельских платьях, Люсьен совершенно голый сидел на горшочке, он бил в барабан, а папа и мама порхали вокруг него; это был кошмар. Но до этого сна произошло еще что-то, наверное, Люсьен проснулся. Когда он пытался вспомнить, он видел длинный черный туннель, освещенный лишь маленькой голубой лампой, точной копией ночника, который зажигали по вечерам в комнате родителей. В самой глубине этой мрачной и синей ночи что-то виднелось – что-то белое. Он сидел на полу у маминых ног и держал свой барабан. Мама спросила его: «Почему ты так на меня смотришь, мое сокровище?» Он опустил глаза, застучал по барабану и закричал: «Бум, бум, тарарабум». Но когда мама отвернулась, он принялся пристально ее разглядывать, словно видел впервые. Голубое платье с искусственным цветком он узнавал, лицо тоже. Но выглядело все совсем не так. Вдруг ему показалось, что он очень близок к чему-то, и, если подумает еще чуточку, найдет то, что искал. Туннель осветился серым тусклым светом, и стало видно, как что-то шевелится. Люсьен испугался и закричал – туннель исчез. «Что с тобой, мой маленький?» – спросила мама. Она с тревожным видом

стояла возле него на коленях. «Я играю», – сказал Люсьен. От мамы хорошо пахло, но он боялся, что она до него дотронется: она казалась ему странной, и папа тоже. Он решил, что больше никогда не будет спать в их комнате.

В последующие дни мама ничего не заметила. Люсьен как обычно, по-прежнему носил свои юбочки, но болтал с ней как настоящий маленький мужчина. Он попросил ее рассказать «Красную Шапочку», и мама посадила его к себе на колени. Она рассказывала ему про Волка и Бабушку Красной Шапочки, подняв вверх палец, улыбающаяся и серьезная. Люсьен смотрел на нее, спрашивал: «А дальше?» – и изредка трогал завитки волос на ее шее; но он ее не слушал, он задавал себе вопрос, действительно ли она его настоящая мама. Когда она кончила свою сказку, он сказал ей: «Мама, расскажи мне, как ты была маленькой девочкой». И мама рассказала, но, наверное, она обманывала. Может быть, раньше она была мальчиком, и ее наряжали в платьица – как в прошлый раз Люсьена, – и она продолжала носить их, чтобы притворяться девочкой. Он ласково потрогал ее красивые руки, которые под шелком были мягкими, как масло. А что будет, если снять с мамы платье, она наденет папины брюки? Неужели у нее сразу вырастут черные усы? Он изо всех сил сжал мамины руки; ему почудилось, что она прямо у него на глазах превратится в страшного зверя или станет бородатой женщиной, похожей на ту, что он видел на ярмарке. Она засмеялась, широко раскрыв рот; Люсьен увидел ее розовый язык и горло; это было противно, и ему захотелось туда плюнуть. «Ха-ха-ха! – смеялась мама. – Как сильно ты меня обнимаешь, мой мужчик! Обними меня крепче. Так же крепко, как ты меня любишь». Люсьен схватил ее красивую в серебряных кольцах руку и покрыл ее поцелуями. Но наутро, когда она сидела рядом с ним, держа его за руки, а он в это время сидел на горшке и она повторяла: «Тужься, Люсьен, тужься, сокровище мое, прошу тебя», он вдруг перестал тужиться и спросил, слегка задыхаясь: «Это правда, что ты настоящая моя мама?» – «Глупышка», – ответила она и спросила, скоро ли он покакает. С этого дня Люсьен был уверен, что она разыгрывала перед ним комедию, и больше никогда не говорил ей, что женится на ней, когда вырастет. Но он не слишком понимал, что это была за комедия: могло случиться, что в ту ночь с туннелем воры украли из кровати его папу и маму, а положили вместо них этих двоих. Или же это были его настоящие папа и мама, но только днем они играли какую-то роль, а ночью становились совсем другими. Люсьен почти не удивился, когда в рождественскую ночь он вдруг проснулся и увидел, как они прятали игрушки в камин. Утром они говорили о Деде Морозе, а Люсьен сделал вид, будто верит им: он думал, что они играют свои роли и должны были воровать игрушки. В феврале он заболел скарлатиной и очень радовался этому.

Поправившись, он взял в привычку разыгрывать из себя сироту. Он садился на лужайке под каштаном, брал в обе горсти землю и думал: «Я – сирота, меня зовут Луи. Вот уже шесть дней я ничего не ел». Служанка Жермена звала его к завтраку, но и за столом он продолжал свою игру; папа с мамой ничего не замечали. Его подобрали воры, которые хотели сделать из него карманника. Когда он позавтракает, он убежит и выдаст их. Он ел и пил очень мало: он прочел в «Приюте Святого Ангела», что голодающий человек должен начинать с легкой пищи. Это было весело, потому что играли все. Папа и мама играли в папу и маму; мама разыгрывала страдания потому, что ее маленькое сокровище ест так мало, папа притворялся, будто читает газету, но изредка помахивал пальцем перед лицом Люсьена, приговаривая: «Бадабум, мужчина!» И Люсьен тоже играл, хотя сам толком не знал в кого. В сироту? Или в то, что он Люсьен? Он посмотрел на графин. Маленький красный блик прыгал в воде, и можно было поклясться, что в графине находится папина рука, огромная и светящаяся, с маленькими черными волосками на пальцах. Люсьену вдруг представилось, что графин тоже лишь играет в графин. В итоге он почти не притронулся к еде и так проголодался, что в конце дня был вынужден украсть дюжину слив, и чуть было не получил несварение желудка. Он решил, что уже достаточно наигрался в Люсьена.

Однако он никак не мог остановиться, и ему все время казалось, что он играет. Он хотел быть похожим на господина Буфардые, который был таким некрасивым и таким серьезным. Приходя на обед, господин Буфардые склонялся к маминой руке и говорил: «Мое почтение, милостивая государыня», а Люсьен, стоя посреди гостиной, смотрел на него с восхищением. Но все, что происходило с Люсьеном, не было серьезным. Когда он падал и набивал себе шишку, то он переставал порой плакать и спрашивал себя: «Это правда, что мне бобо?» И тогда ему делалось еще печальнее, и он принимался плакать еще горше. Когда же он поцеловал маме руку и сказал: «Мое почтение, милостивая государыня», мама, взъерошив ему волосы, сказала: «Нехорошо, мой мышонок,

ты не должен смеяться над взрослыми», и он совсем растерялся. Почувствовать свою значительность ему удавалось лишь в первую и третью пятницы месяца. В эти дни в гости к маме приходило множество дам, и среди них двое или трое всегда были в трауре; Люсьену нравились дамы в трауре, особенно те, у кого были большие ноги. Ему вообще было приятно со взрослыми, потому что они были такими солидными, и даже не хотелось думать, что в постели они утешаются тем же, чем занимаются маленькие мальчики; ведь они носили на себе столько темных одеяний, что нельзя было даже вообразить, есть ли на них нижнее белье. Собравшись вместе, они кушают и беседуют, и даже смех у них какой-то торжественный; это красиво, как месса. Они обращались с Люсьеном как со взрослым. Госпожа Коффен сажала Люсьена на колени и щупала его икры, заявляя: «Я в жизни не видела такого хорошенького ребенка». Потом она интересовалась, что он любит, целовала его и спрашивала, кем он хочет быть. Он либо отвечал, что станет великим полководцем, как Жанна д'Арк, и отберет у немцев Эльзас-Лотарингию, либо говорил, что хочет стать миссионером. И, говоря это, верил в свои слова. Госпожа Бесс была крупной и сильной женщиной с маленькими усиками. Она опрокинула Люсьена на спину и стала щекотать его, приговаривая: «Ах ты, куколка моя». Люсьен был в восторге, весело смеялся и корчился от щекотки; он представлял себе, что он куколка, прелестная куколка для взрослых, и ему хотелось, чтобы госпожа Бесс раздевала его, мыла и укладывала баиньки в маленькую колыбельку резинового пупсика. То и дело госпожа Бесс повторяла: «Неужели моя куколка умеет говорить?» – и при этом слегка нажимала ему на животик. И тогда Люсьен делал вид, что он заводная кукла, и сдавленным голосом произносил: «Квак», и они смеялись.

Господин кюре, который по субботам являлся к ним на завтрак, спросил его, любит ли он маму. Люсьен обожал свою красавицу маму и своего папу, который был таким сильным и добрым. Он ответил: «Да», глядя господину кюре прямо в глаза с таким дерзким видом, что рассмешил всех. У господина кюре голова была похожа на ягоду малины – красная и пупырчатая, с волоском на каждой пупырьчке. Он сказал Люсьену, что это похвально и следует всегда любить маму, а затем спросил, кого он любит больше, маму или Господа Бога. Люсьен не смог быстро найти ответ; он стал трясти своими кудряшками и топтать ногой, крича: «Бум, тарарабум»; взрослые снова продолжали беседу, словно его тут и не было. Он побежал в сад и выскользнул через калитку на улицу, он захватил с собой свою камышовую тросточку. Конечно, Люсьен не должен был выходить из сада, это запрещалось; обычно Люсьен вел себя очень послушно, но сегодня ему расхотелось повиноваться. Он недоверчиво посмотрел на густые заросли крапивы; было ясно, что заходить в это место нельзя: стена была грязной, крапива – колючим и вредным растением; какая-то собака наделала прямо под кустами, пахло растительностью, собачьими испражнениями и теплым вином. Люсьен хлестал крапиву своей тросточкой, выкрикивая: «Я люблю мою маму, я люблю мою маму». Он видел порубленные стебли крапивы, которые жалобно свисали, истекая белым соком; беловатые, пушистые цветы крапивы рассыпались, изрубленные на кусочки, а он слышал тоненький голосочек, кричащий: «Я люблю мою маму, я люблю мою маму». Громко жужжа, кружила большая синяя муха – навозная муха, которую Люсьен боялся, и запретный запах, сильный, гнилой и густой, проникал ему в нос. Он повторил: «Я люблю мою маму», но свой голос показался ему чужим, ему вдруг стало очень страшно, он бросился бежать и, не оглядываясь, примчался в гостиную. В тот день Люсьен понял, что не любит маму. Вины за собой он не чувствовал, но стал относиться к ней с удвоенным вниманием, решив, что всю жизнь следует выказывать любовь к родителям, иначе ты будешь попросту гадким мальчишкой. Госпожа Флерье находила, что Люсьен становится все более ласковым. Этим летом как раз началась война, папа отправился сражаться, а опечаленной маме было приятно чувствовать, что Люсьен так пылко о ней заботится; после полудня, когда она отдыхала в саду в шезлонге – она очень страдала, – он приносил подушку и подкладывал ей под голову или укрывал ей ноги пледом, она, смеясь, отбивалась: «Но мне будет слишком жарко, мой маленький мужчина! О, как ты любезен!» Он страстно целовал ее и повторял, задыхаясь: «Мама моя!», потом садился под каштаном. Он сказал «каштан» и ждал. Но ничего не произошло. Мама лежала в шезлонге у веранды, такая маленькая на дне этой тяжелой, удушливой тишины. Пахло теплой травой, и можно было поиграть в следопыта в джунглях; но Люсьен уже утратил вкус к игре. Воздух дрожал над красным гребнем стены, а солнце заливало обжигающими пятнами землю и руки Люсьена. «Каштан!» Это было поразительно: когда Люсьен говорил маме: «Моя красивая мама», она улыбалась, когда он называл Жермену «ружьём», та плакала и шла жаловаться маме. Но когда он произносил слово «каштан», ничего не происходило. Он процедил сквозь зубы: «Мерзкое дерево, противный каштан! Я тебе покажу, подожди только!» – и бил его ногой. Но

дерево стояло спокойно-спокойно, словно было деревянное. Вечером за ужином Люсьен сказал маме: «Ты знаешь, мама, деревья ведь деревянные» – и соорудил при этом удивленную мину, которая так маме нравилась. Но госпожа Флерье не получила письма с дневной почтой. Она сухо заметила: «Не говори глупостей». Люсьен превратился в маленького разрушителя. Он переломал все свои игрушки, чтобы выяснить, как они устроены, старой папиной бритвой изрезал ручки одного из кресел, разбил танагрскую статуэтку в гостиной, чтобы узнать, полая ли она, или у нее внутри что-то есть; на прогулках он сбивал своей тросточкой растения и цветы; всякий раз он переживал глубокое разочарование: вещи были глупые, они не жили по-настоящему. Мама часто спрашивала его, показывая на цветок или дерево: «Как оно называется?» Но, качая головой, Люсьен отвечал: «Никак не называется, у них нет имен». На все это не стоило труда обращать внимания. Куда забавнее было отрывать лапки у кузнечика, потому что тот вертится при этом волчком под вашими пальцами, а когда ему сжимали живот, оттуда вылезал какой-то желтый крем. Но кузнечики все-таки молчали. Люсьену же очень хотелось помучить одного из тех животных, которые кричат, если им делают больно, курицу например, но даже подойти к ним он боялся. Господин Флерье возвратился домой в марте, потому что он был директором, и генерал сказал ему, что он будет больше полезен во главе своей фабрики, чем простой солдат в окопах. Он сказал, что Люсьен сильно изменился, и заметил, что он не узнает своего маленького мужчину. Люсьен погрузился в какую-то сонливость; на вопросы отвечал вяло и постоянно ковырял пальцем в носу, а то, подышав на руку, принимался ее обнюхивать; и все время его приходилось упрашивать сходить по нужде. Теперь он уже самостоятельно ходил в одно место; он лишь оставлял дверь полуоткрытой, и время от времени мама или Жермена заходили его подбодрить. Он часами сидел на толчке и однажды так утомился, что даже уснул. Врач сказал, что он очень быстро растет, и прописал укрепляющее. Мама хотела научить Люсьена новым играм, но Люсьен счел, что наигрался досыта, что все игры в конце концов одинаковы – одни и те же. Он часто дулся – это тоже было игрой, но более забавной. Можно было огорчать маму, казаться печальным и злым, корчить из себя глухого, не раскрывая рта и смотря затуманенными глазами; а в себе он чувствовал тепло и нежность, как будто он лежит вечером, укрывшись одеялом с головой, и вдыхает свой собственный запах; он был один на всем свете. Люсьен уже не мог обходиться без своих капризов, и, когда папа насмешливым тоном говорил: «Опять дуешься», Люсьен, рыдая, начинал кататься по полу. Он довольно часто заходил в гостиную, когда мама принимала гостей, но, с тех пор как ему обрезали его локоны, взрослые меньше им интересовались или же читали ему мораль, рассказывая назидательные истории. Когда в Фероль, спасаясь от бомбардировок, приехал его кузен Рири вместе с тетей Бертой, своей красивой мамой, Люсьен очень обрадовался и попытался научить его играть. Но Рири был слишком поглощен своей ненавистью к бошам и вообще был еще ребенком, хотя и был на шесть месяцев старше Люсьена; лицо его усеивали веснушки, и он был туповат. И однако именно ему Люсьен признался, что он лунатик. Отдельные люди встают ночью, разговаривают и ходят спящими. Люсьен прочел это в «Юном путешественнике» и стал думать, что должен быть настоящий Люсьен, который по-настоящему ходит, разговаривает и любит своих родителей по ночам, но, едва наступает утро, он все забывает и вновь притворяется Люсьеном. Сперва Люсьен и сам этому не верил, но однажды они подошли вдвоем к крапиве, и Рири, показав Люсьену свою пиписку, сказал: «Смотри, какая большая, я большой мальчик. Когда она станет совсем большой, я стану мужчиной и пойду в траншеи воевать с бошами». Рири показался Люсьену смешным, и он громко рассмеялся. «Покажи твою», – сказал Рири. Они сравнили, и у Люсьена она оказалась меньше, но Рири схитрил: он тянул свою, чтобы ее удлинить. «У меня больше», – сказал Рири. «Да, но зато я лунатик», – ответил Люсьен спокойно. Рири не знал, что такое лунатик, и Люсьену пришлось ему объяснить. Когда он закончил, он подумал: «Значит, правда, что я лунатик», и его охватило страшное желание заплакать. Так как они спали в одной кровати, они уговорились, что в эту ночь Рири не заснет и будет хорошенько наблюдать за Люсьеном, когда тот встанет, и запоминать все, что тот скажет. «Ты разбудишь меня через несколько минут, – сказал Люсьен, – чтобы проверить, вспомню ли все, что делал». Вечером Люсьен, который не мог заснуть, услышал вдруг громкое сопенье, и ему пришлось разбудить Рири. «Занзитар!» – сказал Рири. «Проснись, Рири, ты должен следить за мной, когда я встану». – «Дай мне поспать», – сонным голосом попросил Рири. Люсьен стал его трясти и щипать под рубашкой. Рири задрогал ногами, проснулся и лежал с открытыми глазами и глупой улыбкой. Люсьен вспомнил о велосипеде, который обещал купить ему папа, услышал свисток паровоза, а затем вдруг вошла служанка и отдернула занавески – было восемь часов утра. Люсьен так никогда и не узнал, что же он делал ночью. Только Господь знал

это, потому что Господь все видит. Люсьен стал на колени на молитвенную скамеечку и попытался заставить себя быть умницей, чтобы по приходе с мессы мама похвалила его, но он ненавидел Господа: Господь знал о Люсьене больше, чем сам Люсьен. Он знал, что Люсьен не любит ни маму, ни папу и что он притворяется пай-мальчиком, а вечером в постели трогает свою пиписку. К счастью, Господь не мог все это помнить, потому что на свете очень много маленьких мальчиков. Когда же Люсьен ударял себя в лоб и говорил: «Хлеб», Господь в ту же минуту забывал все, что видел. Люсьен попробовал убедить Господа, что любит свою маму. Время от времени он повторял про себя: «Как я люблю мою дорогую мамочку!» Но в его душе всегда оставался маленький уголочек, который не был вполне убежден в этом, и Господь конечно же видел это. И в таком случае победителем выходил Он. Но иногда Люсьену удавалось полностью слиться с тем, что он говорил. Он произносил быстро-быстро, четко выговаривая: «О, как я люблю мою маму!», перед ним возникало лицо мамы, он чувствовал себя совсем растроганным и смутно, совсем смутно думал, что Господь смотрит на него, а потом об этом уже вовсе нужно было не думать, ему становилось приторно-сладко от нежности и появлялись эти слова, которые так и звенели в его ушах: мама, мама, МАМА. Конечно, длилось это лишь одно мгновение, это было почти так же, как если бы Люсьен пытался заставить стоять стул на двух ножках. Но если в этот миг Люсьен произносил слово «пакота», то Господь оказывался побежденным. Он видел только Добро, и все, что Он успел увидеть, навсегда запечатлевалось в Его памяти. Но Люсьена скоро утомила эта игра, потому что она требовала слишком больших усилий и в итоге никогда нельзя было знать, выиграл Господь или проиграл. Господь больше не интересовал Люсьена. Во время первого причастия господин кюре сказал, что Люсьен самый умный и набожный мальчик из всех, кто изучал у него катехизис. Люсьен быстро все схватывал и имел хорошую память, но голова его была наполнена каким-то туманом.

В воскресенье туман рассеивался. Он рассеивался, когда Люсьен гулял с папой по парижской дороге. Он был в красивой матроске, им попадались рабочие папы, которые приветствовали и папу, и Люсьена. Папа подходил к ним, и они говорили: «Добрый день, господин Флерье», а также: «Добрый день, маленький хозяин». Люсьен любил рабочих, потому что они хотя и были взрослыми, но отличались от других. Во-первых, они называли его «мсье». Во-вторых, они носили фуражки и у них были большие ладони с коротко остриженными ногтями; их ладони казались измученными и израненными. Они были людьми ответственными и уважаемыми. Нельзя было дернуть за усы папашу Булиго: папа отругал бы Люсьена за это. Но папаша Булиго, обращаясь к папе, снимал фуражку, а папа и Люсьен оставались в шляпах; и папа громким, шутивно-ворчливым голосом спрашивал: «Ну что, папаша Булиго, ждешь своего сына, ну и когда же он получит отпуск?» – «В конце месяца, мсье Флерье, спасибо, мсье Флерье». Папаша Булиго сиял от счастья, и он не позволил бы себе, подобно господину Буфардье, шлепнуть Люсьена по задку, называя его Лягушонком. Люсьен не выносил господина Буфардье, потому что тот был очень уродлив. Но когда Люсьен видел папашу Булиго, он чувствовал умиление и ему хотелось быть добрым. Однажды, вернувшись с прогулки, папа посадил Люсьена на колени и стал ему объяснять, что значит быть хозяином. Люсьен хотел знать, как папа разговаривает с рабочими на заводе, и папа объяснил ему, как следует себя держать; голос его резко изменился. «Я тоже стану хозяином?» – спросил Люсьен. «Ну конечно же, мой малыш, для того я тебя и создал». – «А кем я буду командовать?» – «Так вот, когда я умру, ты станешь хозяином моего завода и будешь распоряжаться моими рабочими». – «Но ведь они тоже умрут». – «Ну и что, ты будешь командовать их детьми, и ты должен научиться тому, чтобы они слушались тебя и любили». – «Папа, а как заставить себя любить?» Папа подумал немного и сказал: «Прежде всего ты должен всех их знать по фамилиям». На Люсьена это сильно подействовало, и, когда сын мастера Мореля пришел к ним домой сообщить, что его отцу оторвало два пальца, Люсьен говорил с ним серьезно и ласково, глядя ему прямо в глаза и называя Морелем. Мама сказала, что она горда тем, что у нее такой добрый и чуткий мальчик. Но тут наступило перемирие, каждый вечер папа читал вслух газету, все говорили о русских, о немецком правительстве, о репарациях, а папа показывал Люсьену на карте разные страны. Для Люсьена этот год оказался самым скучным в его жизни, ему больше нравилось, когда шла война; теперь же у всех был какой-то праздный вид и огоньки, которые раньше горели в глазах госпожи Коффе, потухли. В октябре 1919 года госпожа Флерье определила его учеником экстерном в школу Сен-Жозеф.

В кабинете аббата Жерроме было жарко. Люсьен стоял возле кресла господина аббата, заложив руки за спину и смертельно скучая. «Неужели мама не собирается скоро уходить?» Но госпожа Флерье пока и не думала уходить. Она

сидела на краешке зеленого кресла, склонившись своей пышной грудью к господину аббату; говорила она очень быстро и тем особым, певучим голосом, какой появлялся у нее, когда она гневалась, но не хотела этого показывать. Господин аббат говорил степенно, и слова в его устах, казалось, были гораздо длиннее, чем в устах других людей; он словно обсасывал слова, как леденец, прежде чем высказать их. Он объяснял маме, что Люсьен хороший, воспитанный и трудолюбивый мальчик, но совершенно ко всему безразличный, а госпожа Флерье заметила, что она очень огорчена этим, так как полагала, что перемена обстановки пойдет ему на пользу. Она спросила, играет ли он хотя бы на переменах. «Увы, мадам, – отвечал добрый священник, – по-видимому, даже игры не слишком его интересуют. Иногда он ведет себя шумно и даже грубо, но быстро устает; я думаю, что ему не хватает упорства». Люсьен подумал: «Ведь они говорят обо мне». Он был предметом разговора двух взрослых людей, подобно войне, немецкому правительству или господину Пуанкаре; выглядели они озабоченными и рассуждали, как с ним быть. Но эта мысль совсем его не радовала. В ушах его отдавались короткие, певучие слова матери, обсосанные и липкие слова господина аббата; ему хотелось заплакать. К счастью, прозвенел звонок и Люсьена отпустили. Однако на уроке географии он все еще чувствовал себя возмущенным, и ему пришлось попросить у аббата Жакена разрешения выйти в туалет, потому что ему хотелось пройтись.

Свежесть, одиночество и приятный запах туалета успокоили его. Он сел на толчок для очистки совести, но ему не хотелось; поднял голову и стал читать надписи, которые испещряли дверь кабинки. Кто-то написал чернильным карандашом: «Барато – клоп». Люсьен улыбнулся: верно, Барато – малюсенький, как клоп, и говорили, что он подрастет чуть-чуть, совсем немного, потому что папа у него очень маленький, почти карлик. Люсьен подумал, читал ли Барато эту надпись, и решил, что нет: иначе бы он ее стер. Послунявив палец, он водил бы им по буквам до тех пор, пока они не исчезли. Люсьен повеселел, представив, как Барато, зайдя в четыре часа в туалет и спустив свои вельветовые штанишки, вдруг прочтет: «Барато – клоп». Возможно, он никогда и не задумывался над тем, какой он маленький. Люсьен пообещал себе называть его клопом с завтрашнего дня, с первой перемены. Он приподнялся и прочел другую надпись, сделанную все тем же чернильным карандашом: «Люсьен Флерье – длинная спарша». Он аккуратно ее стер и вернулся в класс. «Это правда, – думал он, глядя на своих товарищей, – все они ниже меня». И ему стало неприятно. «Длинная спарша». Он сидел за своим маленьким письменным столом из черного дерева. Жермена была на кухне, мама еще не вернулась. На чистом листе он написал: «длинная спаржа», написал правильно. Но слова показались ему слишком обыденными и не произвели на него никакого эффекта. Он позвал: «Жермена, милая Жермена!» – «Чего еще вам?» – спросила Жермена. «Жермена, я хочу, чтобы вы написали на листке: «Люсьен Флерье – длинная спаржа». – «Вы сошли с ума, мсье Люсьен?» Он обвил руками ее шею: «Жермена, милая, ну будьте так добры». Жермена рассмеялась и вытерла сальные пальцы о фартук. Пока она писала, он не смотрел на нее, но потом отнес листок в свою комнату и долго его разглядывал. Почерк у Жермены был угловатый, и Люсьену казалось, что он слышит резкий голос, который шепчет ему на ухо: «Ну ты, длинная спаржа». Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой же длинный, как Барато – маленький, и все смеются над ними. Его словно сглазили: до сего дня он считал естественным смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь же ему представлялось, что его вдруг обрекли до конца дней оставаться длинным. Вечером он спросил отца, можно ли стать меньше, если очень этого захотеть. Господин Флерье ответил, что нет: все флерье были высокими и сильными, Люсьен еще подрастет. Люсьен был в отчаянии. Когда мать уложила его спать, он встал и подошел к зеркалу – посмотреть на себя. «Я – длинный». Но как он ни пытался рассмотреть себя, ничего не выходило: он был не большой и не маленький. Он приподнял немного рубашку и посмотрел на свои ноги; он представил, как Костиль говорит Эбрау: «Эй ты, посмотри-ка на длинные ноги спаржи», и это показалось ему очень смешным. Было холодно, Люсьен поежился, а кто-то сказал: «У спаржи гусяная кожа!» Люсьен высоко задрал подол своей рубашки, и они увидели его пупок, все его прочее «хозяйство», потом он подбежал к кровати и нырнул под одеяло. Сунув руку под рубашку, он представил, что Костиль смотрит на него и говорит: «Смотрите-ка, что вытворяет длинная спаржа!» Он вздрогнул, повернулся на другой бок и шептал: «Длинная спаржа! Длинная спаржа!» – до тех пор, пока не почувствовал меж пальцев острое пощипывание.

В последующие дни ему хотелось попросить у господина аббата разрешения пересесть в глубину класса. И все из-за Буассе, Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели ему в затылок. Люсьен чувствовал свой затылок, хотя не видел его, а часто и вовсе о нем не вспоминал. Но когда

он, лихо отвечая господину аббату, читал наизусть монолог Дона Диего, те, другие, находились сзади, смотрели ему в затылок и думали с усмешкой: «Какой он худой, шея у него, как две веревки». Люсьен старался читать с выражением и передать унижение Дона Диего. Своим голосом он владел отлично, но его затылок неизменно оставался спокойным и невыразительным, а Буассе его разглядывал. Люсьен не смел пересечь на другое место, так как последние парты занимали лоботрясы, но затылок и лопатки Люсьена постоянно зудели, и он был вынужден беспрерывно чесаться. Люсьен придумал новую игру: по утрам, когда он сам мылся в тазу в туалетной комнате, как взрослый, он воображал, будто за ним подглядывают в замочную скважину то Костиль, то папаша Булиго, то Жермена. И он начинал вертеться, чтобы они могли видеть его со всех сторон, а иногда, повернувшись к двери задом, опускался на четвереньки, чтобы его попка выглядела более круглой и смешной; ему казалось, что господин Буфардьё на цыпочках подкрадывается к нему, чтобы помять ему зад. Однажды, сидя в туалете, он услышал поскрипывание: это Гертруда натирала воском буфет в коридоре. Сердце у него замерло, он неслышно открыл дверь и вышел со спущенными штанами и задранной рубашкой. Ему приходилось семенить ногами, чтобы не упасть. Жермена невозмутимо взглянула на него. «Вы что, в штаны наделали?» – спросила она. Он в бешенстве подтянул штаны и, убежав в свою комнату, бросился на кровать. Госпожа Флерье была в отчаянии и часто говорила мужу: «Он был такой милый малыш, и посмотри, в какого увальня превратился, – ну что за горе!» Бросив на Люсьена рассеянный взгляд, господин Флерье отвечал: «Это возраст!» Люсьен не знал, что делать со своим телом: чем бы он ни занимался, у него всегда складывалось впечатление, что все части его тела существуют сами по себе, ничуть его не слушаясь. Люсьену понравилось воображать себя невидимкой, а потом он взял в привычку подглядывать в замочные скважины, чтобы, мстя за себя, узнать, как ведут себя другие, оставаясь наедине. Он видел, как моется его мать. Она сидела на биде с сонным видом, словно совсем забыв о своем теле и даже лице, потому что думала, что она одна. Губка сама собой двигалась по ее расслабленному телу; движения были ленивые, и казалось, что мама сейчас замрет. Мама намылила небольшую тряпочку и сунула руку между ног. Лицо у нее было посвежевшим, почти печальным, наверняка она думала о чем-то, об учебе Люсьена или о господине Пуанкаре. Но все это время она была этой огромной розовой массой, этим громоздким, усевшимся на фаянсовое биде телом. В другой раз Люсьен, сняв туфли, поднялся в мансарду. Он увидел Жермену. Она была в длинной зеленой рубашке, доходившей чуть ли не до пяток, и расчесывала волосы перед маленьким круглым зеркальцем, томно улыбаясь своему отражению. Какой-то глупый смех разобрал Люсьена, и он был вынужден пулей сбежать вниз. После этого он долго улыбался и гримасничал перед псише в гостиной и кончил тем, что его даже охватил жуткий страх.

В конце концов Люсьен просто заснул, но никто не заметил этого, кроме госпожи Коффен, которая прозвала его спящим красавцем; большой ком воздуха, который он не мог ни проглотить, ни выплюнуть, вынуждал его постоянно держать рот полуоткрытым: так он зевал, когда оставался один. Ком начинал расти, нежно лаская ему нёбо и язык; рот его широко раскрывался, и по щекам катились слезы; это были необыкновенно приятные мгновения. Ему уже не доставляло радости сидеть в туалете, но зато очень нравилось чихать, это пробуждало его и заставляло на несколько секунд смешно оглядываться по сторонам, а потом на него снова нападала дремота. Он научился различать разные виды сна. Зимой он садился у камина и склонял голову к огню; сильно разогревшись и сделавшись пунцово-красной, голова сразу как-то пустела; Люсьен называл это «соснуть головой». Утром по воскресеньям он, наоборот, засыпал ногами: он вставал в ванну, медленно присаживался, и сон с тихим плеском обволакивал его ноги и бока. И над этим задремавшим, раздутым в воде, белым, похожим на вареную курицу телом возвышалась белокурая головка, набитая учеными словами: *templum*, *templi*, *templio*, подземный толчок, иконоборцы. В классе сон был бесцветным, пронзаемым вспышками: «Что мог поделаться он против троих?» Первым был Люсьен Флерье. «Чем является сейчас Третье Сословие? – Ничем». Первым был Люсьен Флерье, вторым Винкельман. Пеллеро был первым по алгебре; у него было всего лишь одно яичко, второе не опустилось; он требовал два су за то, чтобы его посмотреть, десять – за то, чтобы потрогать. Люсьен дал десять, помешкал, протянул руку, но отошел, так и не потрогав, хотя потом так сильно жалел об этом, что мог не засыпать больше часа. В геологии он был не столь силен, как в истории: первым был Винкельман, Флерье – вторым. В воскресенье Люсьен вместе с Костилем и Винкельманом катался на велосипеде. Проезжая через прибитые жарой выцветшие поля, велосипеды скользили по бархатистой пыли; ноги у Люсьена были быстрые и мускулистые, но усыпляющий запах дороги кружил ему голову, он склонялся

над рулем, глаза у него краснели и почти смежались. Три раза подряд он получил высшие награды. Ему вручили книги «Фабиола, или Церковь в катакомбах», «Гений христианства» и «Жизнь кардинала Лавижери». По возвращении с летних каникул Костиль научил их петь. „De Profundis Morigionibus» и «Артиллерист из Метца». Люсьен придумал еще лучше и прочитал в медицинском словаре отца статью «Матка». Затем он объяснил им, как устроены женщины, набросав даже небольшой рисунок на доске, на что Костиль заметил, что это отвратно; но после этого они уже не могли без громкого смеха слышать о трубах, и довольный Люсьен думал, что во всей Франции не найти ученика второго класса или даже класса риторики, который, подобно ему, разобрался бы в женских органах.

Когда Флерье поселились в Париже, Люсьен был просто ослеплен. Он потерял сон из-за этих кино, автомобилей и улиц. Он научился отличать «вуазен» от «паккарда», «испаносуизу» от «роллса» и при случае рассуждал об автомобилях с низкой посадкой; уже больше года он носил длинные брюки. В качестве поощрения за успехи, проявленные им в сдаче первых экзаменов на бакалавра, отец отправил его в Англию. Люсьен увидел луга, залитые водой, и белые утесы, занимался боксом с Джоном Латимером и узнал, что такое апперкот, но в одно прекрасное утро он проснулся сонным, и все началось сначала; в Париж он вернулся совсем вялым. Выпускной класс с математическим уклоном в лицее Кондорсе насчитывал тридцать семь учеников. Восемь из них утверждали, что они ребята разбитные, и третировали остальных, как девственников. Разбитные презирали Люсьена вплоть до первого ноября, но в День Всех Святых Люсьен пошел прогуляться с Гарри, самым ответым из них, и с небрежным видом выказал столь глубокие и детальные знания женской анатомии, что Гарри был ошарашен. Люсьен не вошел в группу разбитных, так как родители не разрешали ему по вечерам выходить из дому, но отношения с ними сложились у него на равных.

По четвергам к ним на улицу Рейнуар приходила завтракать тетя Берта вместе с Рири. Она сделалась чудовищно толстой и печальной и все время вздыхала; но так как кожа у нее оставалась очень чистой и белой, Люсьену хотелось бы увидеть ее голой. Вечерами, лежа в постели, он думал: это будет зимним днем, в Булонском лесу, ее найдут голой среди деревьев, и она будет стоять, сложив руки на груди, вся дрожа, с кожей, покрытой пупырышками. Он представлял себе, что какой-нибудь близорукий прохожий, дотронувшись до нее кончиком трости, спросит: «Что, что это такое?» Люсьен не очень-то ладил со своим кузенком: Рири превратился в красивого юношу, правда слишком щеголеватого; он был в классе философии в лицее Лаканаль, в математике ничего не смыслил. Люсьен не мог заставить себя не думать о том, что Рири, когда ему уже исполнилось семь лет, все еще делал в штаны и при этом ходил по-утиному, раскорячив ноги, и уверял мать, глядя на нее невинными глазами: «Нет, мама, я не обкакался, клянусь тебе». Люсьену было немного противно касаться руки Рири. И все-таки он был с ним очень любезен и даже объяснял задания по математике; ему часто приходилось с трудом сдерживать себя, чтобы не потерять терпение, ибо Рири соображал туго... Но Люсьен не позволял себе горячиться и всегда говорил ровным и спокойным голосом. Госпожа Флерье находила, что Люсьен проявлял исключительный такт, хотя тетя Берта не выказывала ему никакой благодарности. Когда Люсьен предлагал Рири вместе делать уроки, она слегка краснела и, ерзая на стуле, возражала: «Да нет, ты очень добр, мой маленький Люсьен, но Рири уже большой мальчик. Он сам сможет, если захочет, и не следует приучать его рассчитывать на других». Однажды вечером госпожа Флерье неожиданно сказала Люсьену: «Ты, наверное, думаешь, что Рири благодарен тебе за то, что ты для него делаешь? Не стоит обольщаться, мой мальчик: он считает тебя зазнайкой, это мне сказала твоя тетя Берта». Она сказала это своим певучим голосом, с добродушным видом. Люсьен понял, что она кипит от злости. Он был смутно заинтригован и не нашелся что ответить. В последующие два дня ему пришлось много работать, и этот разговор вылетел у него из головы.

В воскресенье утром он вдруг положил перо и спросил себя: «Неужели я зазнайка?» Было одиннадцать часов; Люсьен сидел за письменным столом и рассматривал розовые фигурки на кресте, которым были обиты стены; левой щекой он ощущал сухое, пыльное тепло первого апрельского солнца, правой – душный густой жар от батареи. «Неужели я зазнайка?» Ответить на вопрос было трудно. Сперва Люсьен попытался восстановить в памяти свой последний разговор с Рири и беспристрастно оценить собственное поведение. Склонившись к Рири и улыбаясь, он спрашивал: «Сечешь? Если не сечешь, старик, говори, не бойся, мы повторим еще раз». Чуть позже он сам ошибся в решении сложного уравнения и воскликнул весело: «Вот и мой черед». Это выражение он перенял

от господина Флерье, и оно казалось ему очень забавным. Ошибка была пустяжная. «Но разве я зазнавался, когда сказал об этом?» В напряженных поисках ответа он внезапно вновь представил себе нечто белое, округлое, рыхлое, словно клочок облака, – это была его мысль в тот день, когда он спросил «Сечешь?», и она оставалась в его голове, однако не могла принять четких очертаний. Он делал отчаянные усилия, чтобы разглядеть этот клочок облака, и вдруг ощутил, что он провалился в него вниз головой, оказался в сплошном тумане и сам превратился в пар; теперь он был белым и сырым, теплым паром, которым пахнет белье. Он хотел выбраться из этого тумана и снова посмотреть на него со стороны, но тот обволакивал его со всех сторон. Он думал: «Это я, Люсьен Флерье, я нахожусь в своей комнате и решаю задачу по физике, сегодня воскресенье». Но его мысли, белые на белом фоне, тонули в тумане. Он встряхнулся и принялся пристально разглядывать фигурки на кретоне – двух пастушек, двух пастушков и Амура. Затем он вдруг сказал себе: «Это я, я существую...», и в нем словно что-то щелкнуло: он очнулся от своей долгой дремы.

Пробуждение не было приятным: пастушки отпрыгнули назад, и Люсьену казалось, что он смотрит на них в перевернутый бинокль. А вместо того оцепенения, которое было ему так приятно и с наслаждением пряталось в своих самых потаенных уголках, теперь возникла легкая, очень ясная растерянность, заключающаяся в вопросе «кто же я?».

«Кто же я? Я смотрю на письменный стол, вижу тетрадь. Меня зовут Люсьен Флерье, но это всего лишь имя. Зазнаюсь я или не зазнаюсь. Не знаю, это не имеет смысла. Я хороший ученик. Нет, я им прикидываюсь: хороший ученик любит работать, а я нет. У меня хорошие отметки, но работать я не люблю. Не то чтобы я ненавижу работу, нет, мне на нее наплевать. Мне на все наплевать. Я никогда не стану шефом». Он подумал со страхом: «Но кем же я стану?» Прошло несколько минут; он почесал левую щеку и прищурил левый глаз, так как его слепило солнце: «Что же все-таки такое я?» Перед ним простирался этот туман, подернутый туманом неопределимый, бесконечный «Я». Он смотрел куда-то в пространство, слово это звенело у него в голове, и потом там, наверное, можно было различить нечто, похожее на темное острие пирамиды, стороны которой убегали вдаль, в туман. Люсьен чувствовал озноб, и руки у него дрожали. «Так оно и есть, – думал он, – так оно и есть! Я был в этом уверен: я не существую».

В течение месяцев, которые последовали за этим, Люсьен не раз пытался снова погрузиться в дрему, но ему это не удавалось; он исправно спал по девять часов в сутки, в остальное время был очень оживлен и совсем растерян; родители утверждали, что никогда он не выглядел так хорошо. Когда ему случалось задумываться над тем, что у него нет качеств шефа, он ощущал себя романтиком и ему хотелось часами бродить под луной; но родители все еще не позволяли ему выходить по вечерам. Часто, растянувшись на кровати, он измерял температуру: термометр показывал 37,5 или 37,6, и Люсьен с каким-то горьким удовольствием думал о том, что родители находят его здоровым. «Я не существую». Он закрывал глаза и размышлял: существование – это иллюзия; раз я знаю, что не существую, то стоит мне заткнуть уши, не думать больше ни о чем, и я исчезну. Но иллюзия держалась стойко. И все-таки он обладал над другими людьми весьма хитрым преимуществом – он имел свою тайну; Гарри, к примеру, тоже не существовало, как и Люсьена. Но достаточно было видеть, как он шумно взбрыкивает среди своих обожателей, и сразу было ясно, что он непоколебимо верит в свое существование. Господин Флерье тоже не существовал, как и Рири, не существовало никого – мир был комедией без актеров. Получив оценку 15 баллов за свое сочинение «Мораль и наука», Люсьен задумал написать «Трактат о небытии» и представлял себе, как, читая его, люди станут исчезать один за другим, словно вампиры при крике петуха. Прежде чем приступить к работе над трактатом, он решил посоветоваться с Бабуэном, своим преподавателем философии. «Извините, мсье, – спросил он его в конце урока, – можем ли мы утверждать, что нас не существует?» Бабуэн ответил, что нет. «Когито, – сказал он, – эрго сум. Вы существуете, потому что сомневаетесь в своем существовании». Ответ не убедил Люсьена, но от написания своей работы он отказался. В июле он без особого блеска сдал экзамены на бакалавра математики и вместе с родителями отправился в Фероль. Растерянность не покидала его ни на минуту, это было как желание чихнуть.

Папаша Булиго умер, а настроения рабочих господина Флерье сильно изменились. Теперь они получали большие зарплаты, а их жены покупали шелковые чулки. Госпожа Буфардые сообщала госпоже Флерье потрясающие подробности: «Моя служанка рассказала мне, что видела вчера в закускойной

малютку Ансьен, дочь одного порядочного рабочего вашего мужа, в судьбе которой мы принимали участие, когда она потеряла мать. Она вышла за наладчика с завода Бопертюи. Знаете, она заказала цыпленка за восемь франков! Какая наглость! Эти дамочки от всего нос воротят, они хотят иметь все то, что и мы». Теперь, когда Люсьен с отцом совершали воскресную прогулку, рабочие, завидя их, едва касались кепок, а кое-кто проходил мимо и вовсе не здороваясь. Однажды Люсьен повстречался с сыном Булиго, который, казалось, даже его не узнал. Люсьена слегка это задело – ему представилась возможность доказать себе, что здесь хозяин он. Устремив на Жюля Булиго орлиный взор и заложив руки за спину, он шел прямо на него. Но Булиго не смутился: он, глядя на Люсьена пустыми глазами в упор, что-то насвистывал. «Он меня не узнал», – решил Люсьен. Но он был глубоко разочарован и все последующие дни больше, чем когда-либо, думал о том, что мир не существует.

Маленький револьвер госпожи Флерье хранился в левом ящике ее комода. Муж подарил его ей в сентябре 1914 года, перед отъездом на фронт. Люсьен взял его и долго вертел в руках; это была дорогая вещица с позолоченным стволом и отделанной перламутром рукояткой. Нельзя было рассчитывать на философский трактат, чтобы убедить людей в том, что они не существуют. Для этого требовался поступок по-настоящему отчаянный, который рассеял бы все видимости и с совершенной очевидностью доказал бы небытие мира. Один выстрел, юное, истекающее кровью тело на ковре, несколько слов, нацарапанных на листке бумаги: «Я убиваю себя потому, что я не существую. И вы, мои братья, вы тоже ничто!» Утром, раскрыв, как обычно, газеты, они прочтут: «Юноша решил!» И каждый почувствует ужасное волнение и спросит себя: «А я? Разве я существую?» В истории известны подобные эпидемии самоубийств, и особенно сильная – после появления «Вертера». Люсьен вспомнил, что «martyr» [1 – Martyr (фр.) – мученик. – Здесь и далее примеч. переводчика.] по-гречески означает «свидетель». Он был слишком чувствительный, чтобы стать шефом, но мучеником он мог стать. Поэтому он часто заходил в будуар матери, рассматривал револьвер и ужасно мучился. Ему даже случалось брать в рот позолоченный ствол, крепко сжимая пальцами рукоятку. В другое время он бывал довольно весел, ибо был убежден, что все настоящие шефы знавали искушение самоубийством. Наполеон, к примеру. Люсьен не скрывал от себя, что он касался дна отчаяния, но надеялся выйти из этого кризиса с закаленной душой и с интересом прочел «Мемуары со Святой Елены». Тем не менее надо было принимать решение: Люсьен намерен положить конец своим колебаниям 30 сентября. Последующие дни были крайне тяжелыми; несомненно, кризис был спасительным, но он требовал от Люсьена такого сильного напряжения, что Люсьен опасался, что в один прекрасный день он сломается, как стекло. Он больше не смел коснуться револьвера, он ограничивался тем, что выдвигал ящик и, приподняв комбинации матери, подолгу созерцал это маленькое, холодное, как лед, и упрямое чудовище, которое забилося в ямку из розового шелка. Однако, решив принять жизнь, он ощутил острое разочарование и почувствовал, что ему нечем заняться. К счастью, его поглотило множество забот, связанных с началом учебного года: родители определили его в лицей Святого Людовика, в подготовительный класс, для поступления в Центральную школу. Он стал носить красивую фуражку с красным околышем и эмблемой школы и распева:

Поршень двигает машины,

Поршень двигает вагоны...

Новое звание «поршня» [2 – Здесь непереводимая игра слов. Слово «le piston» (поршень) на школьном жаргоне означает «ученик Центрального училища прикладных искусств».] переполняло Люсьена гордостью; к тому же его класс не был похож на другие классы, у него имелись свои традиции и свой ритуал; он представлял собой силу. Например, было принято, чтобы за четверть часа до окончания урока французского языка кто-то вдруг громко спрашивал: «Сирар» [3 – «Сирар» (арго) – выпускник военного училища Сен-Сьер.] – это кто такой?» – и все тихо отвечали: «Дурак сплошной!» После чего тот же голос продолжал: «Агро» [4 – «Агро» (арго) – агроном, выпускник сельскохозяйственного училища или института.] – это кто такой?» – и ему отвечали громче: «Дурак сплошной!» Тут господин Бетюнь, который очень плохо видел и носил черные очки, устало просил: «Замолчите же, господа!» На несколько мгновений воцарялась абсолютная тишина, ученики заговорщически переглядывались, и кто-то выкрикивал: «Ну а „поршень“ – кто такой?», и весь класс ревел: «Это парень мировой!» В эти минуты Люсьен чувствовал себя крайне возбужденным. Вечером он во всех подробностях сообщал родителям о различных происшествиях дня, и, когда он говорил: «И тут весь класс

заржал...» или «Весь класс решил объявить Мэрине бойкот», слова, вылетая у него изо рта, согрели небо, как глоток алкоголя. Однако первые месяцы были очень трудными: Люсьен плохо справлялся с заданиями по математике и физике, да и его товарищи не были лично ему столь уж симпатичны: они были стипендиаты, в большинстве своем зубрилы, люди неопрятные, с дурными манерами. «Среди них нет ни одного, – сказал он отцу, – с кем мне хотелось бы подружиться». – «Стипендиаты, – задумчиво ответил господин Флерье, – представляют собой интеллектуальную элиту, и все-таки из них получаются плохие шефы: они пропустили в жизни важный этап». Люсьен, услышав о «плохих шефах», ощутил неприятное покалывание в сердце и снова решил покончить с собой в ближайшие недели; но он уже не был охвачен тем восторгом, как во время каникул. В январе новый ученик по фамилии Берлиак поверг в смятение весь класс: он носил приталенные модные пиджаки зеленого или сиреневого цвета, воротнички с округлыми уголками и брюки, словно с рекламных картинок портных, – такие узкие, что все удивлялись, как он вообще мог их натянуть. Сразу же он оказался худшим учеником класса по математике. «Мне на это плевать, – заявил он, – я литератор и математикой занимаюсь для умерщвления плоти». Через месяц он покорила весь класс: он раздавал контрабандные сигареты и сказал, что имеет женщин, даже показал письма, которые они ему писали. Весь класс решил, что он – потрясный парень и лучше его не трогать. Люсьена сильно восхищали его элегантность и манеры, хотя Берлиак относился к нему снисходительно и называл «сыночком богачей». «В конце концов, – заметил как-то Люсьен, – все-таки лучше, что я не сынок бедняков». Берлиак улыбнулся. «Да ты циник, малыш!» – сказал он и на другой день прочитал Люсьену одно из своих стихотворений: «Каждый вечер Карузо обедался сырыми глазами, а вообще трезв, как верблюд. Одна женщина составила букет из глаз членов своей семьи и швырнула его на сцену. И каждый склонился перед столь похвальным поступком. Но не забывайте, что час его славы длился всего тридцать семь минут, а именно с первого крика „браво!“ до затмения большой люстры Оперы (поэтому даме пришлось водить на поводке своего мужа, лауреата многих конкурсов, который двумя боевыми крестами завешивал розовые впадины своих глазных орбит). И запомните хорошенько: те из вас, кто будет неумеренно потреблять консервированную человеческую плоть, погибнут от цинги». – «Здорово», – сказал Люсьен в замешательстве. «Здесь, – небрежно пояснил Берлиак, – я использовал новую технику, так называемое „автоматическое письмо“. Через несколько дней, когда у Люсьена опять возникло неистовое желание покончить с собой, он решил спросить совета у Берлиака. „Что же мне делать?“ – спросил он, изложив свое сложное положение. Берлиак слушал его внимательно; у него была привычка слюнявить пальцы и смазывать слюной прыщи на лице, отчего его кожа блестела местами, как асфальт после дождя. „Поступай как хочешь, – наконец сказал он, – это не имеет никакого значения“. Он подумал немного и добавил, четко выговаривая отдельные слова: „Ничто никогда не имеет никакого значения“. Люсьен был слегка разочарован, но понял, что произвел на Берлиака глубокое впечатление, ибо тот в следующий четверг пригласил Люсьена на завтрак к своей матери. Госпожа Берлиак была очень любезна; лицо ее усеивали бородавки, а на левой щеке расплывалось большое багровое пятно. „Видишь, – сказал Берлиак Люсьену, – истинные жертвы войны – это мы“. Люсьен разделял его мнение, и они сошлись на том, что оба принадлежат к потерянному поколению. Вечерело, Берлиак лежал на своей кровати, заложив руки за голову. Они курили английские сигареты, заводили граммофонные пластинки, и Люсьен слышал голоса Софи Такор и Эла Джонсона. Они совсем загрустили, и Люсьен подумал, что Берлиак – его лучший друг. Берлиак спросил, знаком ли он с психоанализом; голос у него был серьезный, и он многозначительно смотрел на Люсьена. „До пятнадцати лет я желал обладать своей матерью“, – признался он. Люсьену стало не по себе, он боялся покраснеть, и, кроме того, вспомнив о бородавках госпожи Берлиак, он никак не понимал, как ее можно было желать. Тем не менее, когда она вошла, принесла им тосты, он почувствовал смутное волнение и попытался угадать через желтую вязаную фуфайку, какая у нее грудь. Когда она вышла, Берлиак объявил уверенным тоном: „Ты, естественно, тоже хотел переспать с матерью“. Он не задавал вопроса, а давал ответ. „Естественно“, – пожав плечами, сказал Люсьен. На следующий день ему было тревожно, он боялся, как бы Берлиак не возобновил этот разговор. Но он быстро успокоился: „В конце концов он скомпрометировал себя больше, чем я“. Его очень привлекала та научность, в которую облекались их признания, и в следующий четверг в библиотеке Сент-Женевьев он прочел труд Фрейда о сновидениях. Это было откровение. „Так вот в чем дело, – повторял Люсьен, бродя по улицам, – вот в чем дело!“ Затем он купил „Лекции по введению в психоанализ“ и „Психопатологию обыденной жизни“, и ему все стало ясно. Это странное ощущение, будто он не существует, та пустота, которую он давно ощущал в своем сознании, его сонливость, его

растерянность, все эти тщетные усилия познать самого себя, что всегда наталкивались на какую-то завесу тумана. „Черт возьми, – думал он, – да у меня же комплекс“. Он рассказал Берлиаку, что в детстве воображал себя лунатиком, а все предметы никогда не казались ему вполне реальными. „Должно быть, – заключил он, – это мой скрытый комплекс“. – „То же и у меня, – сказал Берлиак, – у нас с тобой фирменные комплексы!“ Они пытались истолковывать свои сны и самые свои незначительные поступки, и Берлиак всегда был готов рассказать столько разных историй, что Люсьен даже слегка подозревал его в том, что он их придумывает или по крайней мере приукрашивает. Но они отлично понимали друг друга и объективно обсуждали самые деликатные темы; они признались друг другу, что носили маску веселости, обманывая окружающих, но в глубине души ужасно страдали. Люсьен освободился от своих тревог. Он с жадностью набросился на психоанализ, так как понял, что это именно то, в чем он нуждался, он теперь чувствовал себя окрепшим, не видел больше необходимости волноваться и вечно искать в своем сознании ощутимые проявления своего характера. Подлинный Люсьен был глубоко скрыт в бессознательном; надо было грезить о нем, никогда его не видя, как о человеке. Весь день напролет Люсьен размышлял о своих комплексах, не без некоторой гордости представляя себе тот таинственный, жестокий и яростный мир, что копошился под эмоциями его сознания. „Понимаешь, – говорил он Берлиаку, – с виду я вечно сонный и безразличный ко всему малый, не слишком-то интересный. Да и внутри меня, знаешь, все так на это похоже, что я чуть было не попался на эту удочку. Но я прекрасно знал, что есть нечто иное“. – „Всегда есть нечто иное“, – отвечал Берлиак. И, гордые собой, они улыбались друг другу. Люсьен написал поэму под названием „Когда туман рассеется“, Берлиак нашел ее замечательной, но упрекнул Люсьена, что он написал ее правильными стихами. Тем не менее они выучили ее наизусть, и, когда им хотелось поговорить о своем либидо, они охотно повторяли: „Огромные крабы, затаившиеся под покровом тумана“, потом – только „крабы“, подмигивая друг другу. Но через какое-то время Люсьен, когда оставался один – особенно вечером, – начинал находить все это страшноватым. Он не осмеливался больше смотреть в глаза матери и, когда заходил поцеловать ее перед сном, пугался, как бы некая темная сила не извратила его поцелуй и не заставила припасть к губам госпожи Флерье; это было так, словно в нем клокотал вулкан. Люсьен относился к себе бережно, чтобы не тревожить ту великолепную и опасную душу, которую он в себе открыл. Теперь он знал ей цену и боялся ее жутких пробуждений. „Мне страшно себя“, – думал он. Уже полгода как он отказался от онанизма, потому что это ему надоело, и ему приходилось много заниматься, но к одиноким наслаждениям вновь вернулся: каждый должен следовать своим наклонностям; книги Фрейда были переполнены рассказами о несчастных молодых людях, которые, резко порвав со своими привычками, заблели в неврозах. „А не сходим ли мы с ума?“ – спрашивал он Берлиака. И действительно, иногда по четвергам они чувствовали себя какими-то странными: сумерки украдкой заползали в комнату Берлиака, они выкуривали целые пачки сигарет с опиумом, руки у них дрожали. Тогда один из них вставал, не говоря ни слова, на цыпочках подбирался к двери и поворачивал выключатель. Желтый свет мгновенно заполнял комнату, и они с недоверием смотрели друг на друга.

Очень скоро Люсьен заметил, что его дружба с Берлиаком основывается на каком-то недоразумении: никто, разумеется, сильнее Люсьена не чувствовал волнующей красоты Эдипова комплекса, но он видел в нем главным образом признак той силы страсти, которую позднее он желал бы направлять на иные цели. Берлиаку, наоборот, нравилось находиться в таком состоянии, и он не хотел из него выходить. «Мы с тобой люди пропащие, – говорил он с гордостью, – неудачники. Мы никогда ничего не сделаем». – «Никогда ничего», – эхом вторил Люсьен. Но его это злило. По возвращении с пасхальных каникул Берлиак рассказал, что в Дижоне занимал вместе с матерью одну комнату в отеле; встав очень рано, он подошел к кровати спящей матери и осторожно приподнял одеяло. «Рубашка ее была вздернута», – усмехнулся он. Слушая его, Люсьен не мог подавить в себе легкого презрения к Берлиаку и почувствовал себя жутко одиноким. Конечно, это очень мило – обладать комплексами, но надо было уметь вовремя от них избавляться: разве сможет зрелый мужчина взять на себя ответственность и кем-то командовать, если он не преодолет детскую сексуальность? Люсьен стал проявлять серьезное беспокойство: ему очень хотелось бы посоветоваться с каким-нибудь сведущим человеком, но он не знал, к кому обратиться. Берлиак часто рассказывал ему о некоем сюрреалисте по фамилии Бержер, который был весьма искушен в психоанализе и, похоже, оказывал на него, Берлиака, большое влияние; но он никогда не предлагал Люсьену познакомить его с ним. Люсьен был очень разочарован и потому, что он рассчитывал на то, что Берлиак будет

Сартр Жан-Поль Детство хозяина filosofff.org
поставлять ему женщин; он думал, что обладание красивой любовницей совершенно естественно изменило бы направление его мыслей. Но Берлиак больше никогда не говорил о своих красивых подружках. Иногда они прогуливались по большим бульварам и преследовали молодых бабенок, хотя и не осмеливались с ними заговорить. «А чего ты хочешь, старик, – говорил Берлиак, – мы не принадлежим к той породе, которая нравится. Женщины чувствуют в нас нечто такое, что их пугает». Люсьен молчал: Берлиак начинал его раздражать. Он часто отпускал довольно пошлые шутки насчет родителей Люсьена, называя их господином и госпожой Дюмолле. Люсьен прекрасно понимал, что сюрреалисту полагается презирать буржуазию вообще, но госпожа Флерье много раз приглашала Берлиака в дом и относилась к нему дружески, с доверием; не говоря о благодарности, простой долг приличия должен был помешать ему говорить о ней в подобном тоне. К тому же Берлиак был ужасен своей манией заниматься деньгами, которые он не отдавал: в автобусе у него всегда не было мелочи и приходилось платить за него; в кафе желание расплатиться возникало у него лишь в одном из пяти случаев. Люсьен однажды прямо сказал ему, что он этого не понимает, что друзья должны делить все подобные расходы поровну. Пристально посмотрев на него, Берлиак сказал: «Я так и думал, ты – анальный тип», объяснил ему фрейдовскую формулу «фекалии – золото» и фрейдистскую теорию скупости. «Я хотел бы только знать, – сказал он, – до каких лет мать подтирала тебя?» Они едва не поссорились.

С начала мая Берлиак стал пропускать занятия в лицее; теперь Люсьен встречался с ним после уроков на улице Пети-шан, в баре, где они пили вермут «крусификс». Однажды во вторник, после полудня, Люсьен застал Берлиака, который сидел за столиком перед пустой рюмкой. «Явился, – сказал Берлиак. – Послушай, мне надо расплатиться, а у меня в пять прием у дантиста. Подожди меня, он живет рядом, я в полчаса обернусь». – «О'кей, – отвечал Люсьен, плюхаясь на стул. – Франсуа, дайте мне белого вермута». В этот момент в бар вошел мужчина и, заметив их, удивленно улыбнулся. Берлиак покраснел и поспешно встал. «Кто бы это мог быть?» – спросил про себя Люсьен. Пожимая руку незнакомцу, Берлиак встал так, что закрыл от него Люсьена; он что-то говорил тихим, быстрым голосом, а незнакомец отвечал ему громко: «Да нет, малыш, нет, ты неисправим, ты навсегда останешься паяцем». И в то же время, приподнявшись на носках, он со спокойной уверенностью разглядывал Люсьена через голову Берлиака. Ему можно было дать лет тридцать пять, у него было бледное лицо и великолепные седые волосы. «Наверняка это Бержер, – подумал Люсьен, и сердце его громко стучало, – как он красив!» Берлиак взял мужчину с седыми волосами под локоть каким-то робко-властным жестом.

– Пойдемте со мной, – сказал он, – я иду к дантисту, это в двух шагах отсюда.

– Но ты, кажется, с другом, – ответил тот, не сводя глаз с Люсьена. – Ты должен представить нас.

Люсьен встал, улыбаясь. «Попался!» – подумал он, щеки у него горели. Берлиак втянул шею в плечи, и Люсьену показалось на мгновение, что он сейчас откажется их знакомить.

– Ну, представь же меня, – весело сказал он. Но едва он это сказал, кровь прихлынула к его вискам; ему хотелось бы провалиться сквозь землю.

Берлиак развернулся и, не глядя на них, пробормотал:

– Люсьен Флерье, мой товарищ по лицу, господин Ахилл Бержер.

– Господин Бержер, я восхищаюсь вашими работами, – чуть слышно сказал Люсьен; Бержер обхватил его руку своими длинными тонкими пальцами и заставил его сесть. Наступила тишина; теплый, нежный взгляд Бержера обволакивал Люсьена; он все еще не отпускал его руки.

– Вас что-то тревожит? – мягко спросил он.

Люсьен откашлялся и в упор посмотрел на Бержера.

– Да, тревожит! – четко ответил он. Ему казалось, что он сейчас выдержал испытания обряда посвящения. Берлиак с секунду помешкал и, бросив на стол шляпу, со злостью снова сел на свое место. Люсьен сгорал от желания рассказать Бержеру о своей попытке самоубийства: ведь перед ним был

Сартр Жан-Поль Детство хозяина filosoff.org
человек, с которым следовало говорить о таких вещах грубо и без подготовки.
Но из-за Берлиака Люсьен не решался ничего сказать, он ненавидел Берлиака.

– Есть у вас ракия? – спросил Бержер официанта.

– Нет, ракию они не держат, – с готовностью ответил Берлиак, – в этой лавочке вообще выпить нечего, кроме вермута.

– А что это желтое там, в графине? – спросил Бержер с мягкой принужденностью.

– Это белый «крусификс», – ответил официант.

– Отлично, дайте мне его.

Берлиак вертелся на своем стуле: казалось, он разрывался между желанием расхвалить своих друзей и опасением выставить напоказ Люсьена в ущерб себе. Наконец он мрачно и гордо сказал:

– Он хотел убить себя.

– Черт возьми! – воскликнул Бержер. – Я так и думал.

Опять наступила пауза; Люсьен скромно потупил глаза, но думал про себя, скоро ли уберется Берлиак. Бержер вдруг взглянул на часы.

– А как же твой дантист? – спросил он.

Берлиак нехотя встал.

– Проводите меня, Бержер, – попросил он, – это в двух шагах.

– Зачем, ты же вернешься. А я составлю компанию твоему товарищу.

Берлиак постоял с минуту, переминаясь с ноги на ногу.

– Валяй, беги, – сказал Бержер властным тоном, – найдешь нас здесь.

Едва Берлиак вышел, Бержер поднялся и бесцеремонно уселся рядом с Люсьеном. Люсьен долго рассказывал ему о своем самоубийстве; он также признался, что желал свою мать, принадлежит к садистско-анальному типу, но, в сущности, ему ничего не нравится, и все в нем было комедией. Бержер слушал его молча, пристально на него глядя, и Люсьен находил, что это очень приятно – быть понятым. Когда он закончил, Бержер фамильярно обнял его за плечи, и Люсьена окутал запах одеколона и английских сигарет.

– Знаете, Люсьен, как я называю ваше состояние? – Люсьен с надеждой смотрел на Бержера: нет, он не ошибся.

– Я называю его Смятением, – сказал он.

Смятение – начало слова было нежным и чистым, словно лунный свет, но заключительное «ие» звучало громким медным звуком охотничьего рожка.

– Смятение, – повторил Люсьен.

Он чувствовал себя строгим и встревоженным, как тогда, когда признался Рири в том, что он лунатик. В баре было темно, но распахнутая дверь выходила на улицу, на светлую, золотистую дымку весны; под тонким ароматом, который источал холеный Бержер, Люсьен улавливал тяжелый запах темного зала, запах красного вина и сырого дерева. «Смятение... – думал он, – и куда только оно меня заведет?» Он толком не знал, что в нем открылось, – какое-то достоинство или новая болезнь; почти у самых глаз он видел подвижные губы Бержера, которые без усталости скрывали, то открывали блеск его золотого зуба.

– Я люблю людей в смятении, – говорил Бержер, – и нахожу, что вам выпала необыкновенная удача. Ведь вам оно было дано. Видите этих свиней? Они сидячие. Их следовало бы бросить термитам, чтобы те их чуточку расшевелили. Вам известно, что делают эти добросовестные козявки?

- Они едят людей, - ответил Люсьен.
- Верно, они очищают скелеты от человеческого мяса.
- Понимаю, - сказал Люсьен. Он прибавил: - Ну а я? Что же я должен делать?
- Ничего, ради Господа нашего, - воскликнул Бержер с комическим испугом. - И главное - не садиться. Если только это не будет кол, - рассмеялся он. - Вы читали Рембо?
- Н-н-нет, - ответил Люсьен.
- Я вам дам «Озарения». послушайте, мы должны снова встретиться. Если вы свободны в четверг, заходите ко мне часа в три, я живу на Монпарнасе, дом 9. Улица Кампань-Премьер.

В следующий четверг Люсьен отправился к Бержеру и весь май бывал у него почти ежедневно. Они условились, что скажут Берлиаку, что видятся лишь раз в неделю, потому что хотели быть с ним откровенны, всячески избегая его огорчать. Берлиак оказался совершенно неуместным; он с ухмылкой спросил Люсьена: «Ну что, втюрился? Он тебя купил на тревоге, а ты его на самоубийстве - большая игра, ничего не скажешь!» Люсьен запротестовал. «Должен тебе заметить, - краснея, возразил он, - что ты первым заговорил о моем самоубийстве». - «Да, я, - воскликнул Берлиак, - и только потому, чтобы избавить тебя от стыда сделать это самому». Они стали встречаться реже. «Все, что мне нравилось в нем, - сказал как-то Люсьен Бержеру, - он взял у вас, теперь я это понимаю». - «Берлиак - обезьяна, - рассмеялся Бержер, - именно это всегда и влекло меня к нему. Вы знаете, его бабушка по матери - еврейка? Этим многое объясняется». - «Конечно», - ответил Люсьен. И спустя мгновение добавил: «Впрочем, в нем есть какой-то шарм». Квартира Бержера была забита множеством странных и смешных вещей: пуфами, чьи сиденья из красного бархата покоились на женских ногах из раскрашенного дерева, негритянские статуэтки, кованый пояс целомудрия с шипами, гипсовые женские груди, которые были утыканы чайными ложками; на письменном столе лежали служившие пресс-папье огромная бронзовая вошь и череп монаха, украденный с кладбища костей в Мистре. Стены были обклеены объявлениями, которые извещали о смерти сюрреалиста Бержера. Несмотря на все, в квартире возникало ощущение продуманного комфорта, и Люсьену нравилось лежать на мягком диване курительной. Но особенно его удивляло великое множество различных шуточных шуток, которые Бержер складывал на этажерку: заледеневшая жидкость, порошок для чихания, волосы для почесывания, плавающий в воде сахар, какашка дьявола, подвязка невесты. Продолжая разговор, Бержер брал в руку какашку дьявола и с серьезным видом разглядывал ее. «Эти штучки имеют огромную революционную ценность - они вызывают тревогу. Разрушительной силы в них больше, чем в Полном собрании сочинений Ленина». Удивленный и зачарованный, Люсьен смотрел то на это страдальческое красивое лицо с глубоко запавшими глазами, то на тонкие длинные пальцы, которые изящно держали превосходно скопированный экскремент. Бержер часто говорил с ним о Рембо и о «систематическом расстройстве всех чувств». «Когда вы, проходя по площади Согласия, сможете усилием воли увидеть негритянку, которая стоит на коленях и сосет обелиск, тогда вы сможете сказать себе, что вы прорвали декорацию и что вы спасены». Он дал ему читать «Озарения», «Песни Мальдорора» и сочинения маркиза де Сада. Люсьен добросовестно старался их понять, но многое от него ускользало, и его шокировало, что Рембо был педерастом. Он сказал об этом Бержеру, который в ответ рассмеялся: «Ну и что из этого, малыш?» Люсьен сильно смутился. Он покраснел и с минуту всей душой ненавидел Бержера; но преодолел себя, поднял голову и с наивной откровенностью признал: «Я сказал глупость». Бержер погладил его по волосам, он казался растроганным. «О, эти большие глаза, полные тревоги, - сказал он, - глаза лани... Да, Люсьен, вы сказали глупость. Педерастия Рембо - это самое важное и гениальное расстройство в его чувствах. Этим стихам мы обязаны ей. Думать, что существуют специфические объекты сексуального желания и этими объектами являются женщины, потому что у них есть дырка между ног, - это гнусное добровольное заблуждение всех сидячих. Посмотрите! Он достал из ящика письменного стола дюжину пожелтевших фотографий и бросил их на колени Люсьену. Люсьен увидел ужасных голых шлюх, смеющихся беззубыми ртами, меж раздвинутых, словно губы, ног у них торчало что-то, похожее на заросший мхом язык. «Я купил этот набор за три франка в Бу-Сааде, - сказал Бержер. - Если вы целуете зад одной из таких женщин, то вы свой, и каждый скажет, что вы живете, как настоящий мужчина. Потому что живете с женщинами, понимаете?

А я говорю вам: первое, что вы должны сделать, это убедить себя в том, что объектом сексуального желания может стать все – швейная машинка, пробирка, лошадь или башмак. Сам я, – рассмеялся он, – занимался любовью с мухами. Я знал солдата морской пехоты, который жил с утками. Он засовывал ее голову в ящик, крепко брался за лапки и наяривал». Рассеянно ущипнув Люсьена за ухо, Бержер заключил: «Утка от этого умирала, и ее съедали солдаты». У Люсьена после таких разговоров голова шла кругом, он думал, что Бержер – гений, но по ночам он часто просыпался весь в поту, с головой, полной жутких и гнусных видений, и он спрашивал себя, оказывает ли на него Бержер благотворное влияние. «Я один! – стонал он, заламывая руки. – У меня нет никого, кто мог бы дать мне совет, сказать, на правильном ли я пути!» А если он пойдет до конца, если по-настоящему будет культивировать расстройство всех чувств, не уйдет ли у него почва из-под ног, не погибнет ли он? Как-то, слушая долгий рассказ Бержера об Анри Бретоне, Люсьен прошептал, словно во сне: «Хорошо, но если после этого я уже не смогу вернуться назад?» Бержер подскочил: «Вернуться назад! Кто же говорит о том, чтобы возвращаться назад? Если вы сойдете с ума, тем лучше. После, как говорит Рембо, «придут другие страшные работники». «Именно так я и думал», – печально вздохнул Люсьен. Он заметил, что эти долгие беседы имели результат, противоположный тому, какого желал Бержер; едва Люсьен ловил себя на том, что испытывает более утонченное ощущение, необычное впечатление, его тотчас же бросало в дрожь. «Вот оно, начинается», – думал он. С некоторых пор ему очень хотелось бы испытывать лишь банальные и грубые переживания; и лишь по вечерам в обществе своих родителей он чувствовал себя легко: они были его прибежищем. Они говорили о Бриане, о злой воле немцев, о родах кузины Жанны и о цене жизни; Люсьен с наслаждением обменивался с ними суждениями, исполненными грубого здравого смысла. Однажды, войдя к себе в комнату по возвращении от Бержера, он машинально закрыл дверь на ключ и задвинул засов. Осознав свой жест, он заставил себя улыбнуться, но всю ночь не мог уснуть: он понял, что ему страшно.

Однако ни за что на свете он не отказался бы от встреч с Бержером. «Он меня очаровывает», – думал Люсьен. К тому же он очень дорожил той деликатной и необычной дружбой, которую Бержер сумел установить между ними. Не изменяя своему мужественному и почти грубому стилю, Бержер обладал искусством дать Люсьену почувствовать и, так сказать, физически ощутить его нежность: например, он поправлял ему узел галстука, ворчливо браня Люсьена за то, что он так безвкусно одевается; он расчесывал ему волосы золотым гребнем из Камбоджи. Он раскрыл Люсьену его собственное тело, объяснив ему жестокую и волнующую красоту юности. «Вы Рембо, – говорил он ему, – у него были ваши большие руки, когда он приехал в Париж, чтобы увидеть Верлена, такое же, как у вас, розовое лицо молодого здорового крестьянина и длинное, хрупкое тело, как у белокурой девочки». Он заставил Люсьена снять воротничок и расстегнуть рубашку, потом подвел его, совсем сконфуженного, к зеркалу и восхищался прелестной гармонией его румяных щек и белой шеи; тут он слегка погладил рукой бедро Люсьена и печально вздохнул: «И мы убьем себя в двадцать лет». Теперь Люсьен часто смотрел на себя в зеркало и научился наслаждаться своей угловатой юношеской грацией. «Я Рембо», – думал он вечером, снимая с себя одежду жестами, полными нежности, и начинал верить, что ему будет отпущена короткая и трагическая жизнь слишком прекрасного цветка. В такие минуты ему казалось, что он уже давным-давно испытывал подобные ощущения, и в памяти всплывала нелепая картинка: он видел себя совсем маленьким, в длинном голубом платье с крылышками ангелочка, раздающим цветочки на благотворительной распродаже. Он разглядывал свои длинные ноги. «А правда ли, что у меня такая нежная кожа?» – лукаво думал он. И однажды он провел губами по руке – от запястья и до локтевого сгиба – вдоль тоненькой очаровательной голубой жилки.

Зайдя как-то к Бержеру, Люсьен был неприятно удивлен: он увидел Берлиака, который был занят тем, что отрезал ножом кусочки какого-то черноватого вещества, с виду напоминавшего комки земли. Молодые люди не виделись уже дней десять, они холодно пожали друг другу руки. «Смотри, – сказал Берлиак, – это гашиш. Мы набьем его в трубки между двумя слоями светлого табака, действует обалденно. Тут и тебе хватит», – добавил он. «Спасибо, – сказал Люсьен, – я не хочу». Бержер и Берлиак рассмеялись, но Берлиак продолжал уговаривать, ехидно на него глядя: «Не будь идиотом, старик, попробуй, ты представить себе не можешь, как это приятно». – «Отстань, не хочу!» – воскликнул Люсьен. Помолчав, Берлиак ограничился высокомерной улыбкой, и Люсьен заметил, что Бержер тоже улыбался. Топнув ногой, он кричал. «Я не желаю, не хочу губить свое здоровье, я считаю глупым

прибегать к этим штучкам, которые превращают людей в скотов». Это вырвалось невольно, но, когда до него дошел смысл сказанного и он представил себе, что мог подумать о нем Бержер, ему захотелось убить Берлиака, и слезы навернулись на глаза. «Ты буржуа, – сказал Берлиак, пожав плечами, – ты притворяешься, будто плывешь, но ты страшно боишься оторваться от дна». – «Я не хочу привыкать к наркотикам, – ответил Люсьен более спокойно, – это такое же рабство, как и любое другое, а я хочу быть свободным». – «Скажи лучше, что боишься попробовать», – грубо возразил Берлиак. Люсьен уже собрался вlepить ему пару пощечин, как вдруг услышал властный голос Бержера: «Оставь его, Шарль. Он прав. Его боязнь попробовать тоже от смятения». Они курили, растянувшись на диване, и запах армянской бумаги распространился по комнате. Люсьен сидел на красном бархатном пуфе и молча наблюдал за ними. Наконец Берлиак откинул назад голову и заморгал, улыбаясь слюнявой улыбкой. Люсьен чувствовал себя униженным и смотрел на него со злостью. Наконец Берлиак поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты; все это время на его губах блуждала какая-то странная, сонная и похотливая улыбка. «Дайте мне трубку», – хрипло попросил Люсьен. Бержер рассмеялся. «Не стоит, – сказал он. – Не обращай внимания на Берлиака. Знаешь, что с ним сейчас происходит?» – «А мне плевать», – сказал Люсьен. «Так вот, знай, что его рвет, – спокойно сказал Бержер. – Гашиш никогда не оказывал на него иного действия. Все прочее – это лишь комедия, но я иногда даю ему покурить, потому что ему хочется пофорсить передо мной, а меня это забавляет». На следующий день Берлиак явился в лицей, он решил обращаться с Люсьеном свысока: «Ты садишься в поезд, но заботливо отбираешь тех, кого оставляешь на вокзале». Но он не на того напал. «А ты балаганный зазывала, – ответил ему Люсьен, – думаешь, я не знаю, что ты делал вчера в ванной? Ты блевал, старик!» Берлиак побледнел: «Это Бержер тебе сказал?» – «А кто еще, по-твоему?» – «Хорошо, – пробормотал Берлиак, – хотя я не думал, что Бержер из тех, кто плюет на старых друзей ради новых». Люсьен слегка забеспокоился: он ведь обещал Бержеру ничего не рассказывать. «Брось, все хорошо! – сказал он. – Все он на тебя не плюет, он просто хотел доказать мне, что гашиш тебя не берет». Но Берлиак повернулся и ушел, даже не подав ему руки. Люсьен был не слишком собой доволен, когда вновь встретился с Бержером. «Что вы сказали Берлиаку?» – с безразличным видом спросил Бержер. Люсьен опустил голову и молчал: он был удручен. Но вдруг он ощутил руку Бержера на затылке: «Это неважно, малыш. В любом случае этому уже пора было кончиться: комедианты никогда не веселят меня долго». Люсьен немного осмелел: он поднял голову и улыбнулся. «Но ведь и я комедиант», – сказал он, часто моргая. «Да, но ты – ты хорошенький», – ответил Бержер, привлекая его к себе. Люсьен покорился; он чувствовал себя нежным, как девушка, и слезы выступили у него на глазах. Бержер целовал его в щеки и покусывал ему ухо, называя то «миленьким проказником», то «маленьким братишкой», а Люсьен думал, что очень приятно иметь старшего брата, такого терпимого и все понимающего.

Господин и госпожа Флерье выразили желание познакомиться с Бержером, о котором Люсьен так много им рассказывал, и пригласили его на обед. Все наши его очаровательным, даже жермена, заявившая, что никогда не встречала такого красавца мужчину; господин Флерье был знаком с генералом Низаном, доведшимся Бержеру дядей, долго говорили о нем. Поэтому госпожа Флерье с большой радостью согласилась отпустить Люсьена с Бержером на каникулы в дни Святой Троицы. Они приехали в Руан на автомобиле; Люсьен хотел осмотреть собор и ратушу, но Бержер категорически отказался. «Ты хочешь смотреть эту дрянь?» – вызывающе спросил он. В конце концов они провели два часа в борделе на улице Корделье; Бержер без конца хохмил: он называл всех девочек «мадемуазель», под столом толкая Люсьена коленом, потом согласился подняться с одной из них в номер, но через пять минут вернулся. «Чешем отсюда, – прошептал он, – сейчас тут такой хай будет». Они быстро расплатились и ушли. На улице Бержер рассказал, что же произошло: воспользовавшись тем, что женщина повернулась к нему спиной, он бросил в постель целую горсть волос, вызывающих зуд, потом объявил, что он импотент, и сошел вниз. Люсьен выпил два стакана виски и немного поплыл; он спел «Артиллериста из Метца» и «De Profundis Morpionibus»; он находил восхитительным, что Бержер мог быть и таким умным, и таким ребячливым.

«Я заказал один номер, – сказал Бержер, когда они пришли в отель, – но с большой ванной». Люсьен не удивился: в дороге он смутно догадывался, что ему придется делить комнату с Бержером, но на этой мысли он почему-то не задерживался. Теперь, когда отступать уже было некуда, он счел все это не совсем приятным, главным образом потому, что ноги у него были не совсем чистые. Пока поднимали чемоданы, он представлял себе, как Бержер скажет:

«Ну и грязен ты, все простыни изгваздаешь», а он дерзко ответил: «У вас весьма мещанские представления о чистоте». Но Бержер толкнул его в ванную вместе с чемоданом, сказав: «Приведи себя в порядок здесь, а я разденусь в комнате». Люсьен вымыл ноги и подмыл зад. Ему захотелось в туалет, но не решился выйти и помочился в раковину; потом надел ночную рубашку, домашние туфли, которые одолжил у матери (его собственные совсем сносились), и постучал. «Вы готовы?» – спросил он. «Да, да, входи», – Бержер был в черном халате накинутом на светло-голубую пижаму. В комнате пахло одеколоном. «Здесь только одна кровать?» – спросил Люсьен. Бержер не ответил: он ошалело уставился на Люсьена. И наконец громко расхохотался. «Ты что, в одной рубахе? – рассмеялся он. – А куда ночной колпак дел? Ну нет, ты меня уморишь. Я хочу, чтоб ты посмотрел на себя». – «Уже два года, – обиженно сказал Люсьен, – я прошу мать купить мне пижаму». Бержер подошел к нему: «Ладно, снимай все это, – сказал он тоном, не терпящим возражений, – я дам тебе одну из моих. Тебе она великовата, но лучше же, чем это». Люсьен стоял как вкопанный посреди комнаты, не сводя глаз с красных и зеленых ромбов на обоях. Он предпочел бы вернуться в ванную, но боялся сойти за дурака; резким движением он снял через голову рубашку. На мгновение воцарилась тишина: Бержер, улыбаясь, смотрел на Люсьена, и до того вдруг дошло, что он стоит посреди комнаты нагишом, в материнских тапочках с помпончиками. Он смотрел на свои руки – большие руки Рембо, ему хотелось прижать их к животу, хотя бы прикрыть свой срам. Но, спохватившись, храбро убрал их за спину. На стенах между рядами ромбов были разбросаны редкие фиолетовые квадратики. «Честное слово, – сказал Бержер, – он чист, как девственница, посмотри на себя в зеркало, Люсьен, даже грудь у тебя покраснела. Но так ты лучше смотришься, чем в своей рубахе». – «Да, – сказал Люсьен, делая над собой усилие, – если ты нагишом, трудно сохранять пристойный вид. Дайте-ка мне пижаму». Бержер швырнул ему шелковую, пахнущую лавандой пижаму, и они легли в кровать. Воцарилось тягостное молчание. «Мне плохо, – сказал Люсьен, – меня тошнит». Бержер молчал, отрывка Люсьена пахла виски. «Он переспит со мной», – решил он. И ромбы на обоях закружились, а удушливый запах одеколона сдавливал ему горло. «Я не должен был соглашаться на эту поездку». Ему не повезло; раз двадцать в последнее время он был на волосок от того, чтобы понять, чего хотел от него Бержер, и всякий раз, как нарочно, какая-нибудь случайность отвлекала Люсьена от этих мыслей. А теперь вот он лежал в постели с этим типом и ждал, что тому захочется с ним сделать. «Я возьму подушку и пойду спать в ванную». Но он не осмелился: он подумал об ироническом взгляде Бержера. Люсьен засмеялся. «Я думаю о той проститутке, – сказал он, – она, наверно, до сих пор чешется». Бержер по-прежнему молчал; Люсьен наблюдал за ним краешком глаза: тот лежал на спине с беспечным видом, заложив руки за голову. Дикая ярость охватила Люсьена, он приподнялся на локте и спросил: «Ну и чего вы ждете? Вы что, привезли меня сюда, чтобы заниматься пустяками?»

Но он не успел пожалеть о своей фразе; Бержер повернулся и взглянул на него с веселым удивлением: «Посмотрите-ка на эту потаскушку с личиком ангела. Постой, малыш, я тебя ни о чем не просил; ты сам считаешь на меня, чтобы я расстроил твои жалкие чувства». Он смотрел на него с минуту – лица их почти соприкасались, – потом обнял Люсьена и стал гладить под пижамой его грудь. Это не было неприятно, лишь слегка щекотно, но Бержер был страшен: лицо его приняло идиотское выражение, и он хрипло повторял: «Стыда у тебя нет, свинюшка, стыда у тебя нет, свинюшка!» – словно звукозапись, которая сообщает на вокзалах об отправлении поездов. Рука Бержера, напротив, казалась резвой и легкой, почти одушевленной. Она нежно касалась сосков Люсьена: так ласкает теплая вода, когда садишься в ванну. Люсьену хотелось бы схватить эту руку, оторвать ее от себя, но Бержер лишь рассмеялся бы: «Тоже мне девочка». Рука медленно сползла по его животу и задержалась, развязывая пояс, на котором держались пижамные брюки. Люсьен не противился: он отяжелел и обмяк, словно мокрая губка, и испытывал жуткий страх. Бержер отбросил одеяло, положил голову на грудь Люсьену, как будто хотел прослушать его. Люсьен два раза рыгнул, во рту стало кисло, он боялся, что его стошнит прямо на эти красивые седые волосы, которые выглядели так благопристойно. «Вы давите мне на желудок», – сказал он. Бержер чуть приподнялся и просунул руку Люсьену за спину; другая рука больше не ласкала его, она трепала его. «У тебя хорошенькая попочка», – вдруг сказал Бержер. Люсьену казалось, что ему снится кошмар. «Вам нравится?» – кокетливо спросил он. Но Бержер вдруг отпустил его и с досадой поднял голову. «Чертов маленький обманщик, – вскричал он в ярости, – хочет корчить из себя Рембо, а я больше часа корячусь тут с ним, а он лежит, как полено». Слезы бессилия выступили на глазах у Люсьена, и он изо всех сил оттолкнул Бержера. «Я не виноват, – сипло сказал он, – вы меня напоили,

меня тошнит». – «Ну ладно, иди, поблуй, – сказал Бержер, – и не спеши». Затем процедил сквозь зубы: «Хорош вечерок!» Люсьен подтянул пижамные брюки, накинул черный халат и вышел. Заперев дверь туалета, он почувствовал себя таким одиноким и несчастным, что навзрыд заплакал. Платка в кармане халата не оказалось, он вытер глаза и нос туалетной бумагой. Тщетно он пытался засунуть два пальца как можно глубже в рот, его так и не вырвало. Он машинально спустил брюки и, дрожа от холода, сел на унитаз. «Подлец, – думал он, – подлец!» Он был жестоко унижен, но не мог понять, чего он стыдился больше – того, что терпел ласки Бержера, или того, что они его ничуть не возбудили. Из коридора с другой стороны двери доносилось легкое поскрипывание, и при каждом звуке Люсьен вздрагивал, но он не решался вернуться в комнату. «И все же надо идти, – думал он, – надо, иначе он уйдет от меня... к Берлиаку!» Он уже привстал, но сразу же перед ним снова возникло лицо Бержера, с глупым видом повторяющего: «Стыда у тебя нет, свинюшка!» Он в отчаянии вновь рухнул на унитаз. Но вот наконец его страшно пронесло, что несколько успокоило Люсьена. «Все вышло снизу, – думал он, – так для меня даже лучше». И действительно, тошнота прошла. «Он сделает мне больно», – вдруг подумал он, и ему почудилось, что сейчас он упадет в обморок. В конце концов Люсьен так продрог, что громко лязгал зубами; он подумал, что может простудиться, и поспешно встал. Когда он вернулся в комнату, Бержер встретил его каким-то скованным взглядом; он курил сигарету, пижама его была расстегнута, и был виден его худой торс. Медленно сняв халат и туфли, не сказав ни слова, Люсьен скользнул под одеяло. «Порядок?» – спросил Бержер. Люсьен пожал плечами: «Я замерз!» – «Ты хочешь, чтобы я тебя согрел?» – «Попробуйте», – предложил Люсьен. И в это мгновение почувствовал, как его расплющивает огромная тяжесть. Мягкий и влажный, как сырой бифштекс, рот приклеился к его губам. Люсьен ничего уже не понимал, не соображал, где находится, и с трудом дышал, но ему было приятно, потому что он согревался. Он вспомнил госпожу Бесс, которая, нажимая ему рукой на животик, называла его «куколкой», и Эбрара, прозвавшего его «длинной спаржей», и о том, как он мылся по утрам в тазу, представляя себе, что господин Буфардьё войдет с минуты на минуту, чтобы подмыть его, и сказал себе: «Я куколка!» В это мгновенье Бержер издал торжествующий крик. «Наконец-то ты решился! Сейчас, – сопя, прибавил он, – мы с тобой кое-чем займемся». Люсьен сам снял пижаму.

Назавтра они проснулись в полдень. Гарсон принес им завтрак в постель; Люсьену показалось, что у него надменный вид. «Он принимает меня за педика», – подумал он, вздрогнув от огорчения. Бержер был очень любезен: он оделся первым и вышел покурить на площадь Вье-Марше, пока Люсьен принимал ванну. «В сущности, – думал Люсьен, старательно растирая тело банной перчаткой, – все это скучно». Первый страх прошел, и, когда он убедился, что это не так больно, как ему казалось, он погрузился в глубокое уныние. Он надеялся, что все это позади и он сможет поспать, но Бержер не оставлял его в покое до четырех часов утра. «Мне все-таки надо будет решить мою задачу по тригонометрии», – сказал он себе. И старался больше не думать ни о чем, кроме своей работы. День был долгим. Бержер рассказывал ему о жизни Лотреамона, но Люсьен слушал его не очень внимательно; Бержер слегка раздражал его. На ночь они остановились в Кодебеке, и Бержер долго донимал Люсьена своими ласками, но около часа Люсьен решительно объявил, что хочет спать, и тот, совсем не обидевшись, дал ему уснуть. К вечеру они уже были в Париже. В общем, Люсьен остался собой доволен.

Родители встретили Люсьена с распростертыми объятиями. «Ты хоть поблагодарил как следует господина Бержера?» – спросила мать. Поболтав с ними немного о нормандских равнинах, он рано лег спать. Спал он, как ангел, но, проснувшись, почувствовал, что внутри у него все дрожит. Он встал и долго разглядывал себя в зеркале. «Я – педераст», – сказал он себе. И что-то в нем надломилось. «Люсьен, вставай, – послышался за дверью голос матери, – тебе сегодня в лицей». – «Да, мама», – послушно ответил Люсьен, но присел на постель и стал рассматривать большие пальцы на ногах. «Это несправедливо, я не отдавал себе отчета, я... у меня не было опыта». Эти пальцы сосал мужчина; Люсьен в ярости отвернулся: «Он-то все знал. То, что он заставляет меня делать, имеет название – это называется спать с мужчиной, и он знал это». Странно – Люсьен горько усмехнулся – можно было целыми днями терзаться вопросами, умный ли ты, не зазнайка ли, но так и не прийти к ответам. И наряду с этим существуют ярлыки, которые в одно прекрасное утро приклеивают вам, и приходится носить их всю жизнь; Люсьен, например, высокий блондин, похож на отца, единственный сын, а со вчерашнего дня – педераст. О нем будут говорить: «Флерье, вы знаете его, тот высокий блондин, которому нравятся мужчины». И люди будут отвечать: «Ах да! Этот

Сартр Жан-Поль Детство хозяина filosoff.org
педик? Очень хорошо знаю, что он за птица».

Он оделся и вышел, но сердце не лежало идти в лицей. Он спустился по улице Ламбаль к Сене и пошел по набережным. Небо было чистым, улицы пахли свежей листвой, асфальтом и английским табаком. Идеальная погода, чтобы носить свежую одежду на чистом теле с обновленной душой. Все люди выглядели нравственно здоровыми, и только Люсьен чувствовал себя в эту весну подозрительным и странным. «Это роковой путь, – думал он, – начал я с Эдипова комплекса, потом стал садистско-анальным типом, теперь – дальше ехать некуда – педерастом, и куда он меня заведет?» Конечно, в его случае все было еще не так серьезно; он не испытывал большого наслаждения от ласк Бержера. «Ну а если я к этому привыкну? – со страхом думал он. – Я без этого жить больше не смогу, ведь это, как морфий!» Он станет порочным человеком с клеймом, никто больше не пожелает его принимать, рабочие его отца будут смеяться над ним, если он попытается приказать им что-то. Люсьен снисходительно вообразил свою ужасную судьбу. Он видел себя в тридцать пять лет, накрашенного и жеманного, и то, как господин с усами и орденом Почетного Легиона с грозным видом замахивается на него тростью: «Ваше присутствие здесь, мсье, – это оскорбление для моих дочерей». И вдруг он пошатнулся, мгновенно прекратив эту игру: ему вспомнилась одна фраза Бержера. Это было ночью в Кодебеке. Бержер воскликнул: «Скажи-ка! А ты входишь во вкус!» Что он имел в виду? Люсьен, разумеется, не был бесчувственным поленом и благодаря любовной возне... «Это ничего не доказывает, – с тревогой убеждал он себя. – Но говорят, что у этих людей необыкновенное чутье на себе подобных, это как шестое чувство». Люсьен долго разглядывал полицейского, который регулировал движение перед Иенским мостом. «Неужели этот полицейский может меня возбудить?» Он смотрел на синие брюки полицейского и представлял себе его мускулистые и волосатые ляжки: «Разве это хоть как-то действует на меня?» И он пошел дальше, слегка успокоившись. «Это не так серьезно, – думал он, – я еще могу спастись. Он злоупотребил моим смятением, но я – не настоящий педераст». Он повторял свой эксперимент со всеми мужчинами, которые шли ему навстречу, и всякий раз результат оказывался отрицательным. «Уф! – вздохнул он. – Хорошо, что я счастливо отделался!» Это было предупреждение, и только. Но повторять этого не следовало, так как дурные привычки легко приобретаются и к тому же ему необходимо срочно излечиться от своих комплексов. Он решил, что тайком от родителей подвергнется психоанализу у специалиста. Потом заведет любовницу и станет нормальным мужчиной.

Люсьен начал успокаиваться, как внезапно вспомнил о Бержере: в это самое мгновение Бержер находится где-то в Париже, очарованный самим собой; голова его была полна воспоминаний: «Он знает мое тело, ему знакомы мои губы, он говорил мне: «У тебя такой запах, что я никогда его не забуду»; хвастаясь перед своими друзьями, он скажет: «Я поимел его», точно я девка какая-то. И, может быть, именно сейчас он рассказывает о своих ночах... – У Люсьена замерло сердце – Берлиак! Если он сделает это, я убью его; Берлиак меня ненавидит, он расскажет об этом всему классу, и тогда я пропал, ребята откажутся пожимать мне руку. Я скажу, что это неправда, – исступленно убеждал себя Люсьен, – подам в суд, буду утверждать, что он меня изнасиловал!» Всем своим существом Люсьен ненавидел Бержера: не будь его, не будь этого непристойного и несправедливого сознания, все могло бы уладиться, никто ничего не узнал бы, а сам Люсьен со временем забыл бы об этом. «Если бы он мог внезапно умереть! Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы он умер сегодня ночью, ничего не успев никому рассказать. Господи, сделай так, чтобы вся эта история была похоронена, ты не можешь желать, чтоб я стал педерастом! Во всяком случае, у него на крючке! – в бешенстве думал Люсьен. – Мне придется вернуться к нему, исполнять все его прихоти, да еще говорить, что все это мне нравится, иначе я погиб!» Он прошел еще несколько шагов и из предосторожности прибавил: «Господи, сделай так, чтобы Берлиак тоже умер». Люсьен не мог набраться смелости вернуться к Бержеру. В течение последующих недель ему чудилось, что он повсюду его встречает, а когда он работал в своей комнате, то вздрагивал при каждом звонке в дверь; по ночам его терзали жуткие кошмары: Бержер насиловал его посреди двора лица Святого Людовика, все «поршни» стояли тут же и, гогоча, за ними наблюдали. Но Бержер не сделал никакой попытки увидеться с ним и не подавал признаков жизни. «Он хотел только моей плоти», – с обидой думал Люсьен. Берлиак тоже куда-то исчез, и Гигар, который иногда по воскресеньям ходил с ним на скачки, утверждал, что Берлиак покинул Париж вследствие приступа нервной депрессии. Люсьен постепенно успокоился: его поездка в Руан казалась ему смутным и нелепым сном, не имеющим никакого отношения к жизни; почти все ее подробности он уже забыл и помнил только спертый запах плоти и

одеколону, ощущение невыносимой скуки. Господин Флерье несколько раз спрашивал, куда девался его друг Бержер: «Нам надо пригласить его в Фероль, чтобы поблагодарить». – «Он уехал в Нью-Йорк», – ответил наконец Люсьен. Иногда вместе с Гигаром и его сестрой он катался на лодках по Марне; Гигар научил его танцевать. «Я пробуждаюсь, – думал он, – рождаюсь заново». Но довольно часто он чувствовал какую-то тяжесть в спине, словно мешок давил: это были его комплексы; он спрашивал себя, не следует ли ему поехать к Фрейде в Вену. «Я поеду без денег, если надо, пойду пешком, я скажу ему: у меня нет ни гроша, но я – исключительный случай». Как-то в жаркий июньский день он встретил на бульваре Сен-Мишель Бабуэна, своего старого преподавателя философии, «Ну что, Флерье, – спросил Бабуэн, – готовитесь к Центральной?» – «Да, мсье», – ответил Люсьен. «Вы, – сказал Бабуэн, – могли бы заняться и литературой. Вам легко давалась философия». – «Я и не бросал ее, – сказал Люсьен. – Я кое-что прочел в этом году, Фрейда например. Кстати, – прибавил он, охваченный вдохновением, – я хотел бы спросить вас, мсье, что вы думаете о психоанализе?» Бабуэн рассмеялся. «Это просто мода, – ответил он, – которая скоро пройдет. Все, что есть лучшего у Фрейда, можно найти уже у Платона. Что касается остального, – добавил он не терпящим возражений тоном, – то я заявляю вам, что не верю в эти глупости. Читайте лучше Спинозу». Люсьен почувствовал, как огромный камень свалился у него с души; домой он возвращался пешком, что-то насвистывая. «Это был кошмар, – думал он, – но теперь от него ничего уже не осталось!» Солнце в этот день было резким и жарким, но Люсьен поднял голову и, не мигая, поглядел на него: солнце принадлежало всем, и Люсьен имел право смотреть на него в упор; он был спасен! «Глупости! – думал он, – это были глупости! Они пытались испортить меня, но я им не дался». Действительно, он всегда оказывал сопротивление: Бержер заморочил ему голову своими разглагольствованиями, но Люсьен, к примеру, сразу же почувствовал, что педерастия Рембо – это порок, а когда эта козьявка Берлиак хотел заставить его курить гашиш, он послал его куда подальше. «Я едва не погиб, – думал он, – и меня спасло лишь мое нравственное здоровье!» Вечером, за ужином, он с любовью смотрел на отца. У господина Флерье были широкие плечи, тяжелые и медлительные жесты, как у крестьянина, хотя в нем чувствовалась порода, и серые, металлические и холодные глаза хозяина. «Я похож на него», – думал Люсьен. Он вспомнил, что Флерье – и деды, и внуки, – целых четыре поколения, были хозяевами фабрик. «Что ни говори, а семья есть семья!» И он с гордостью думал о нравственном здоровье семьи Флерье. Люсьен решил не поступать в этом году в Центральную Школу, и Флерье очень рано отправились в Фероль. Люсьен с восторгом вновь обрел дом, сад, завод, маленький городок, такой спокойный и безмятежный. Это был другой мир, он решил рано вставать и совершать долгие прогулки по окрестностям. «Я хочу, – сказал он отцу, – надыхаться чистым воздухом и запастись здоровьем на будущий год, перед тем как впрячься в работу». Он вместе с матерью нанес визит семействам Буфардые и Бесс, и все сочли, что он стал взрослым юношей, разумным и степенным. Эбрар и Винкельман, изучавшие право в Париже, тоже приехали на каникулы в Фероль. Люсьен проводил время вместе с ними, и они вспоминали, как разыгрывали аббата Жакмара, чудесные прогулки на велосипедах и пели на три голоса «Артиллериста из Метца». Люсьену очень пришло по душе грубоватая искренность и основательность его старых друзей, и он упрекал себя в том, что забыл о них. Он признался Эбрару, что терпеть не может Париж, но Эбрар не мог этого понять: родители отдали его на попечение какому-то аббату, который глаз с него не спускал; Эбрар был ошарашен посещением Лувра и вечером, проведенным в Опере. Такая простота умилила Люсьена; он чувствовал себя старшим братом Эбрара и Винкельмана и начинал внушать себе, что он не жалеет о своей такой мучительной прошлой жизни: ведь он приобрел опыт. Он рассказал им о Фрейде и психоанализе, немного забавляясь тем, что сильно их шокировал. Они резко критиковали теорию комплексов, но их возражения были наивными, что Люсьен им и доказал, добавив, кстати, при этом, что с философской точки зрения очень легко можно разоблачить все ошибки Фрейда. Они восхищались им, но Люсьен делал вид, что не замечает этого.

Господин Флерье объяснил Люсьену, как функционирует завод. Он обошел с ним основные корпуса, и Люсьен долго наблюдал, чем занимаются рабочие. «Когда я умру, – сказал господин Флерье, – ты должен будешь быстро взять на себя все управление заводом». Люсьен пожурил его и попросил: «Папа, дорогой мой, не говори, пожалуйста, об этом!» Но в последующие дни он был очень серьезным, думая об ответственности, которая рано или поздно должна лечь на его плечи. Они подолгу беседовали об обязанностях патрона, и господин Флерье доказал ему, что собственность – это не право, а обязанность. «Они морочат нам голову своей борьбой классов, – сказал он, – как будто интересы хозяев и

рабочих противоположны! Возьми мой случай, меня, Люсьен. Я мелкий хозяин, тот, кого на парижском жаргоне называют «лавочник». Пусть так, но у меня на руках сто рабочих с семьями. Если дела у меня идут хорошо, то прежде всего это выгодно им. Если же я буду вынужден закрыть завод, все они окажутся на улице. Я не имею права плохо вести дела, – сказал он с силой. – Именно это я и называю классовой солидарностью».

Более трех недель все шло хорошо; он почти не вспоминал о Бержере, он его простил и надеялся на то, что никогда в жизни больше его не увидит. Иногда, меняя рубашку, Люсьен подходил к зеркалу и с удивлением смотрел на себя. «Мужчина желал это тело», – думал он. Он медленно проводил руками по бедрам и думал: «Мужчину волновали эти ноги». Он брал себя за талию и жалел о том, что он не может раздвоиться так, чтобы тот, другой, мог ласково гладить его тело, как шелковую ткань. Подчас он сожалел о своих комплексах: они были прочными, весомыми, их огромная темная масса утяжеляла его. Теперь с этим покончено, Люсьен больше не верил в них и ощущал какую-то мучительную легкость. Впрочем, это не было так уж неприятно, это скорее было некое, вполне терпимое, хотя и немного противное, разочарование, которое в крайнем случае могло сойти за скуку. «Я ничто, – думал он, – но это потому, что ничего меня не запачкало. А вот Берлиак погряз в пороках. Я вполне могу вынести эту слабую неуверенность: это плата за чистоту».

Как-то на прогулке он присел на холмик и подумал: «Я проспал шесть лет, а потом в один прекрасный день вылупился из своей скорлупы». Он был полон жизни и с радостным видом оглядывал пейзаж. «Я создан для действия!» – сказал он себе. Но в одну секунду его тщеславные мысли потускнели. Он произнес вполголоса: «Пусть они немного подождут и увидят, чего я стою». Он говорил с уверенностью, но слова отскакивали от него, как пустые скорлупки. «Что у меня есть?» Он не хотел признавать этой странной тревоги, она принесла ему слишком много страданий в прошлом. «Есть эта тишина... эта земля...» – подумал он. Вокруг ни души, только кузнечики, которые с трудом волочат по пыли свои желто-черные брюшки. Люсьен ненавидел кузнечиков, потому что они всегда казались полудохлыми. По ту сторону дороги к самой реке сползала сероватая, изможденная солнцем, потрескавшаяся песчаная равнина. Никто не видел и не слышал Люсьена; он вскочил, и ему померещилось, что его движениям ничто не мешает, даже сила притяжения. Сейчас он стоял во весь рост под занавесом серых облаков, и казалось, будто он существует в пустоте. «Эта тишина...» – думал он. Это было большее, чем тишина, это было ничто. Равнина вокруг Люсьена была необыкновенно спокойная и инертная, бесчеловечная. Казалось, что она съежилась и затаила дыхание, чтобы не беспокоить его. «Когда артиллерист из Метца вернулся в гарнизон...» Звук на губах погас, как пламя в пустоте; Люсьен без тени и эха был один среди этой слишком неприметной, какой-то невесомой природы. Он восторженно и попытался восстановить ход своих рассуждений: «Я создан для действия. Во-первых, меня не сломить: я, конечно, могу делать глупости, но это не имеет больших последствий, потому что я умею взять себя в руки». Он подумал: «У меня есть нравственное здоровье». Однако он замолчал, скорчив гримасу отвращения, настолько нелепым показалось ему рассуждать о «нравственном здоровье» на этой выжженной добела дороге, которую переползали подышающие насекомые. Взбешенный, Люсьен наступил на кузнечика; он ощутил под подошвой крохотный упругий шарик, а когда поднял ногу, кузнечик еще шевелился. Люсьен плюнул на него: «Я в смятенье. Как и в прошлом году». Он стал думать о Винкельмане, который называл его «козырным тузом», о господине Флерье, который относился к нему как к мужчине, о госпоже Бесс, что сказала ему: «И этого парня я называла когда-то куколкой, а теперь не осмелюсь даже назвать его на ты, так он меня пугает». Но они были далеко, очень далеко, и ему казалось, что настоящий Люсьен исчез, а осталось лишь его какое-то бледное и растерянное подобие. «Кто же я?» Километры и километры песчаной равнины, плоской, потрескавшейся почвы, без травы, без запахов, и вдруг откуда-то из этой сероватой корки торчит спаржа, такая странная здесь, что у нее даже нет тени. «Кто же я?» Вопрос остался тем же с прошлогодних каникул, казалось, он поднимал Люсьена на том месте, где он его оставил; или, точнее, это был не вопрос, а состояние души. Люсьен пожал плечами. «Я слишком сложный, – подумал он, – и чересчур копаюсь в себе».

В последующие дни он попытался больше заниматься самоанализом: он хотел, чтобы его завораживали вещи, и подолгу рассматривал подставку для яиц, кольца для салфеток, деревья, витрины; он очень польстил матери, попросив ее показать ему столовое серебро. Но, пока он разглядывал серебро, он думал о том, что разглядывает серебро, а где-то, позади его взгляда, трепетало

живое облачко тумана. И напрасно Люсьен погружался в разговор с господином Флерье, этот густой и стойкий туман, чья непроницаемая невесомость обманчиво напоминала свет, скользил позади внимания, с которым Люсьен вслушивался в слова отца; этим туманом был сам Люсьен. Время от времени Люсьен с раздражением переставал слушать и оборачивался, пытаясь схватить этот туман и в упор взглянуть на него; но перед ним была пустота, а туман опять оказывался позади.

Жермена в слезах прибежала к госпоже Флерье: ее брат заболел бронхопневмонией. «Бедная моя Жермена, – сказала госпожа Флерье, – вы же всегда говорили, что он такой крепкий!» Она дала ей отпуск на месяц, а вместо нее взяла дочь одного рабочего с завода отца – семнадцатилетнюю Берту Мозель. Это была малышка с белокурыми косами, которые она венком укладывала на голове, она слегка прихрамывала. Поскольку она была родом из Конкарно, госпожа Флерье попросила ее носить кружевной чепец: «Так будет гораздо изящнее». С первых же дней, когда она видела Люсьена, в ее больших голубых глазах отражалось робкое и страстное восхищение, и он понял, что она его обожает. Обращался он к ней запросто и часто спрашивал: «Вам у нас нравится?» В коридорах он забавы ради старался сталкиваться с ней, чтобы посмотреть, какое впечатление это на нее производит. Но она вызывала в нем чувство нежности, и он черпал в этой любви драгоценную моральную поддержку; он часто не без волнения думал, каким он видится Берте. «Я ведь совсем не похож на тех молодых рабочих, с кем она водится». Под каким-то предлогом он заманил Винкельмана в людскую, и тот нашел, что она девочка хоть куда. «Ты везунок, – заключил он, – на твоём месте я бы ее трахнул». Но Люсьен не решался: от нее пахло потом, а ее черная блузка под мышками была в грязных подтеках. Одним дождливым сентябрьским днем госпожа Флерье уехала на автомобиле в Париж и Люсьен остался один в своей комнате. Он прилег на постель и принялся зевать. Ему казалось, что он капризное и летучее облако, и неизменное, и переменчивое, чьи края вечно размыты в воздухе. «Я задаю себе вопрос: почему существую?» Вот он лежит в комнате, переваривает пищу, зевает, слышит, как по стеклам барабанит дождь, в голове у него клочья белого тумана, ну а что дальше? Его существование было скандалом бытия, и вся ответственность, которую он позднее возьмет на себя, едва ли оправдывает это существование. «В конце концов, я не просил, чтобы меня родили», – сказал он себе. И он испытал прилив жалости к самому себе. Ему вспомнились его детские страхи, его долгая дремота, но теперь они представились ему в совершенно новом свете: в сущности, его всегда затрудняла жизнь, этот громоздкий и бесполезный подарок, который он держал в руках, не зная, как с ним быть и куда поставить. «Я потратил свое время на сожаления о том, что родился на свет». Однако он был в слишком угнетенном состоянии, чтобы раздвигать дальше свои мысли; он встал, закурил сигарету и пошел в кухню – попросить Берту сделать ему чай. Она не заметила, как он вошел. Он тронул ее за плечо, и она резко вздрогнула. «Я вас напугал?» – спросил он. Она с испуганным видом смотрела на него, опершись обеими руками о стол, и грудь ее вздымалась; наконец она улыбнулась и ответила: «Это меня ошеломило, я не думала, что здесь кто-то есть». Люсьен снисходительно улыбнулся в ответ и сказал: «Вы были бы весьма любезны, если бы приготовили мне чашечку чая». – «Сию минуту, мсье Люсьен», – ответила малютка Берта и бросилась к плите; появление Люсьена явно тяготило ее. Люсьен в нерешительности стоял на пороге. «Ну так как же, – отечески спросил он, – нравится вам у нас?» Берта стояла к нему спиной и наливала из-под крана чайник. Шум воды заглушил ее ответ. Люсьен немного подождал, а когда она поставила чайник на газовую плиту, спросил: «Вы курите?» – «Иногда», – с недоверием ответила она. Он раскрыл пачку «кравена» и протянул ей. Он был не совсем собой доволен: ему казалось, что он окажется в ложном положении; ему не следовало бы заставлять ее курить. «Вам угодно, чтобы я закурила?» – спросила она удивленно. «Почему бы и нет?» – «Госпожа меня заругает». У Люсьена появилось неприятное чувство соучастия в чем-то недостойном. Он засмеялся и сказал: «А мы ей не скажем». Берта покраснела, кончиками пальцев взяла сигарету и воткнула ее в рот. «Должен я предложить ей огня? Нет, это будет неучтиво». Он спросил: «А что, прикуривать вы не будете?» Она его раздражала: она стояла перед ним с негнушимися руками, раскрасневшаяся и покорная, а в ее сложенных бантиком губках торчала сигарета; можно было подумать, что она вставила в рот градусник. Наконец она взяла из жестяной коробки спичку, чиркнула ее, прищурил глаза, сделала несколько затяжек и сказала: «Мягкие», потом резко вынула сигарету изо рта и неуклюже зажала ее в ладони. «Она прирожденная жертва», – подумал Люсьен. Однако она немного оттаяла, когда он спросил, любит ли она родную Бретань, рассказала ему о разных видах бретонских чепцов и даже спела нежным, но фальшивым голоском какую-то нормандскую песенку. Люсьен над ней подтрунивал вежливо, но она

шутки не понимала и смотрела букой; в эту минуту она была похожа на крольчиху. Он сидел на табуретке и чувствовал себя совсем непринужденно. «Садитесь же», – предложил он. «Ой, что вы, мсье Люсьен, я не могу сидеть при вас, мсье Люсьен». Он взял ее под мышки и усадил к себе на колени. «Так лучше?» – спросил он. Она не сопротивлялась, с забавным акцентом лепеча: «Сидеть у вас на коленях!» – и глядя на него с восторженным и укоризненным видом, а Люсьен тем временем с досадой думал: «Я действую слишком смело, мне не следовало бы заходить так далеко». Он молчал; она сидела у него на коленях, такая теплая и притихшая, хотя Люсьен слышал, как колотится ее сердце. «Она – моя вещь, – думал он, – я могу сделать с ней все, что пожелаю». Он отпустил ее, взял чайник и поднялся к себе в комнату – Берта даже пальцем не пошевелила, чтобы его удержать. Прежде чем приступить к чаю, Люсьен тщательно, ароматизированным мылом матери вымыл руки, которые пахли подмышками.

«Неужели я пересплю с ней?» В последующие дни Люсьен был очень поглощен этой маленькой задачей. Берта постоянно вертелась у него под ногами и смотрела на него большими грустными глазами спаниеля. Нравственность взяла свое: Люсьен понял, что она рискует от него забеременеть, так как он не был достаточно опытен в этих делах (купить же в фероне презервативы было невозможно, его тут все знали), что это принесет большие неприятности господину Флерье. Он также убедил себя в том, что позднее он будет пользоваться на заводе меньшим авторитетом, если дочь одного из его рабочих сможет хвастаться тем, что спала с хозяином. «Я не имею права ее трогать». Все последние дни сентября он избегал оставаться наедине с Бертой. «Ну, чего же ты ждешь?» – спрашивал Винкельман. «Ничего, – сухо отвечал Люсьен. – Шашни со служанкой не для меня». Винкельман, который впервые слышал про «шашни со служанкой», лишь присвистнул от удивления и умолк.

Люсьен был вполне удовлетворен собой: он повел себя как воспитанный мужчина, и это искупало многие его ошибки. «Она была на все готова», – говорил он себе не без грусти. Но, поразмыслив немного, решил: «Это все равно, как если бы я ее поимел, – она предлагала мне себя, а я ее отверг». И отныне Люсьен стал считать, что он уже не девственник. Эти мелкие удовольствия несколько дней занимали его, потом и они тоже растворились в тумане. Вернувшись в октябре домой, он чувствовал себя таким же мрачным, как и в начале прошлого учебного года.

Берлиак в лицей не вернулся, и никто о нем ничего не знал. Люсьен увидел в классе много новых незнакомых лиц: его сосед справа, по фамилии Лемордан, проучился год в математической школе в Пуатье. Он был выше ростом даже Люсьена, а его черные усы придавали ему вид вполне взрослого мужчины. Люсьен без удовольствия встретился со своими товарищами: они казались ему ребячливыми и наивно шумными, семинаристами одним словом. Он еще участвовал в их коллективных выходках, но с некоторой ленцой, что, впрочем, ему позволялось, как «старика». Лемордан заинтересовал его гораздо больше, потому что в нем чувствовалась зрелость, но, в отличие от Люсьена, не казалось, что он обрел эту зрелость благодаря множеству трудных испытаний; он был взрослым от рождения. Люсьен часто с наслаждением любовался этой массивной головой с задумчивым лицом, как-то криво посаженной прямо на плечи, а не на шею, казалось, что в эту голову никогда ничего не могло проникнуть ни через уши, ни через узкие, как у китайца, красноватые и застывшие глазки. «Это человек, у которого есть убеждения», – с уважением думал Люсьен и не без зависти спрашивал себя, какова та опора, на которой зиждется у Лемордана абсолютное чувство собственного достоинства. «Вот кем я должен стать – скалой». Тем не менее он был немного удивлен, что Лемордан был способен воспринимать математические доказательства, но мсье Юссон успокоил его, когда вернул им их первые контрольные работы: Люсьен был седьмым, а Лемордан, получив оценку «пять», оказался в списке семидесят восьмым; все стало на свои места. Лемордана и это не взволновало; похоже, он ожидал худшего, и его крошечный ротик, смуглые и гладкие полные щеки не были созданы для выражения каких-либо чувств: он был спокоен, как Будда. Разгневанным его видели лишь однажды – в тот день, когда Леви толкнул его в гардеробной. Сперва он, часто заморгав, раз десять громко хрюкнул. Потом заорал: «В Польшу! Убирайся в Польшу, грязный жиденыш, и не смей быть нахалом в нашем доме!» Он был выше Леви на две головы, а его мощный торс покачивался на длинных ногах. В итоге он отвесил ему пару оплеух, а маленький Леви принес свои извинения – на этом все и закончилось.

По четвергам Люсьен с Гигаром отправлялись танцевать к подружкам его сестры. Но Гигар вдруг сознался, что это сканьяне ему надоело. «У меня есть

подружка, – признался он, – она работает старшей продавщицей у Плинье на rue Ruаяль. А у нее как раз есть приятельница, которая сейчас одна, – ты должен пойти с нами в субботу вечером». Люсьен устроил сцену родителям и добился разрешения уходить вечером по субботам; ключ решили оставлять под ковриком. Он встретился с Гигаром около девяти часов в баре на улице Сент-Оноре. «Сам увидишь, – сказал Гигар, – Фанни очаровательна, и к тому она умеет одеваться, что немаловажно». «А моя?» – «С ней я незнаком, знаю только, что она подручная швея и недавно приехала в Париж из Ангулема. Кстати, – прибавил он, – смотри не дай промашку. Я – Пьер Дора. А ты... раз ты блондин, я сказал, что в тебе английская кровь, так оно лучше. Зовут тебя Люсьен Боньер». – «К чему все это?» – спросил заинтригованный Люсьен. «Старина, – ответил Гигар, – это принцип. Можешь делать все, что угодно, с этими женщинами, но никогда не называй своей фамилии». – «Ладно! Хорошо! – согласился Люсьен. – И чем же я занимаюсь?» – «Можешь сказать, что ты студент, это лучше всего, сам понимаешь, это им льстит, и потом ты не обязан тратить на них кучу денег. Расходы, понятно, мы поделим, но сегодня вечером плачу я, я уже привык. В понедельник я скажу, сколько ты мне должен». У Люсьена мгновенно промелькнула мысль, что Гигар хотел кое-что на нем выгадать. «Какой я стал мнительный!» – весело подумал он, и тут вошла Фанни: это была высокая, смуглая и худая девушка, с длинными ногами и сильно накрашенным лицом. Люсьену она показалась страшной. «Это Боньер, о котором я тебе говорил», – сказал Гигар. «Очень приятно, – ответила Фанни, близоруко щурясь. – А это Мод, моя подружка». Перед Люсьеном стояла маленькая простушка без возраста, ее шляпка напоминала перевернутый цветочный горшок. Косынки на ней не было, и рядом с яркой Фанни выглядела она тускло. Люсьен испытал горькое разочарование, но заметил, что у нее красивый рот и к тому же с ней ему не придется церемониться. Гигар позаботился о том, чтобы заранее расплатиться за пиво, так что он сумел воспользоваться шумной суматохой знакомства, весело подталкивая девушек к двери и не давая им времени что-нибудь себе заказать. Люсьен был ему признателен за это: господин флэрье выдавал сыну всего сто двадцать пять франков в неделю и из этих денег он должен был оплачивать свои телефонные разговоры. Вечер вышел очень веселым: они отправились на танцы в Латинский квартал, в уютный розовый зальчик с укромными уголками; коктейль здесь стоил сто су. Здесь было много студентов с женщинами вроде Фанни, но не столь шикарными. Фанни была неотразима: она посмотрела прямо в глаза толстому бородачу, курившему трубку, и очень громко сказала: «Не выношу тех, кто курит на танцах». Бородач побагровел и сунул непогашенную трубку в карман. Она обращалась с Гигаром и Люсьеном слегка снисходительно и часто повторяла по-матерински ласково: «Эх вы, мерзавцы этакие». Люсьен чувствовал себя непринужденно и был сама любезность: он наговорил Фанни кучу забавных глупостей и при этом все время все время ей улыбался. В конце концов улыбка уже не сходила с его лица, и он сумел найти изысканный тон легкой небрежности и рыцарской нежности, чуть оттененный иронией. Но Фанни было не до него: она, взяв Гигара за подбородок, пальцами растягивала ему щеки, чтобы у него оттопырились губы; когда они делались пухлыми и чуть слюнявыми, словно налитые соком плоды или слизняки, она часто облизывала их, приговаривая при этом: «бэби». Люсьен ужасно смущался и находил Гигара смешным: губы Гигара были измазаны помадой, а на щеках отпечатались следы пальцев. Но другие парочки вели себя еще более вольно; и все целовались; время от времени из гардеробной приходила женщина с корзинкой и, разбрасывая серпантин и разноцветные шарики, кричала: «Оле, детки, веселитесь, смейтесь, оле, оле!», и все смеялись. Наконец Люсьен вспомнил о Мод и, улыбнувшись ей, сказал: «Взгляните-ка на этих голубков». Показав на Фанни и Гигара, он добавил: «А вот мы, почтенные старички...» Он не договорил, но так забавно улыбнулся, что Мод улыбнулась в ответ. Она сняла шляпку, и Люсьен с удовольствием отметил, что она была куда лучше многих женщин в дансинге; он пригласил ее на танец и рассказал о своих проделках с учителями в тот год, когда он готовился к экзаменам на бакалавра. Она хорошо танцевала, у нее были черные серьезные глаза, она не казалась невинной. Люсьен рассказал ей о Берте и сказал, что его терзали угрызения совести. «Но для нее так было лучше», – прибавил он. Мод нашла историю Берты романтической и грустной, спросила, сколько Берта получала у его родителей. «Для девушки, – добавила она, – не такая уж радость быть в услужении». Гигар и Фанни уже не обращали на них внимания, они ласкали друг друга, и лицо у Гигара было в слюнях. Люсьен то и дело повторял: «Посмотрите на этих голубков, ну посмотрите же!» У него даже была готова фраза: «Они вызывают у меня желание сделать то же самое...» Но он не осмеливался произнести ее и ограничивался улыбками, потом он прикинулся, будто они с Мод старые приятели, которым наплевать на любовь, назвал ее «стариком» и поднял руку, собираясь похлопать ее по плечу. Вдруг Фанни

повернула голову и с удивлением посмотрела на них. «А вы, мелюзга, чего ждете? – спросила она. – Да поцелуйтесь же, ведь вам до смерти хочется». Люсьен обнял Мод; он слегка стеснялся, потому что на них смотрела Фанни; ему хотелось бы, чтобы поцелуй получился долгим и удачным, хотя он не знал, как люди умудряются дышать при этом. В конце концов, это оказалось не так трудно, как он думал, нужно было целоваться чуть косо, чтобы ноздри могли дышать. Он услышал, как Гигар считает: «Раз, два, три, четыре...», и отпустил Мод лишь на пятидесяти двух. «Неплохо для начала, – похвалил Гигар, – но у меня получше выйдет». Люсьен смотрел на свои наручные часы и тоже открыл счет: Гигар оторвался от губ Фанни на сто пятьдесят девятой секунде. Люсьена это взбесило, и он счел это состязание глупым. «Я отпустил Мод из-за приличия, – думал он, – это несложно; если научишься дышать, то можно целоваться до бесконечности». Он предложил провести второй тур и выиграл. Когда все закончилось, Мод посмотрела на Люсьена и серьезно сказала: «А вы хорошо целуетесь». Люсьен покраснел от удовольствия. «Всегда к вашим услугам», – ответил он, поклонившись. Но все же он предпочел бы целоваться с Фанни. Расстались они в половине первого ночи, чтобы успеть к последнему поезду метро. Люсьен был на вершине блаженства; подпрыгивая и приплясывая, он шел по улице Рейнуар и думал: «Дело в шляпе». У него болели уголки рта, так много он смеялся в этот день.

Он усвоил привычку встречаться с Мод по четвергам в шесть часов и вечером в субботу. Она позволяла себя целовать, но не хотела ему отдаться. Люсьен пожаловался Гигару, который его успокоил: «Не волнуйся, Фанни уверена, что она будет спать с тобой; правда, она еще молода и имела всего два любовников. Фанни рекомендует тебе быть с ней поласковой. «Поласковой? – спросил Люсьен. – Ты думаешь, что говоришь?» Они рассмеялись, и Гигар заключил: «Делай как знаешь, старик». Люсьен был очень ласков. Он много целовал Мод и говорил, что любит ее, но в конце концов это было несколько однообразно, к тому же он не слишком стремился бывать с ней на людях; ему хотелось кое-что подсказать Мод насчет ее туалетов, но она была набита предрассудками и очень быстро выходила из себя. Между поцелуями они сидели молча, с неподвижными глазами, и держались за руки. «Бог знает, о чем она думает, если у нее такой суровый взгляд». Сам же Люсьен думал всегда об одном и том же – о своей жалкой, печальной и смутной жизни, говоря себе: «Я хотел бы быть Леморданом, вот человек, который нашел свой путь!» В такие минуты он видел себя как бы со стороны, представляя себя другим: тот сидит рядом с женщиной, которая его любит, его рука в ее руке, его губы еще влажны от ее поцелуев, но отвергает то скромное счастье, какое она ему предложила, – он одинок. И он крепко сжимал пальцы малютки Мод, и слезы выступали у него на глазах: он ведь так хотел бы сделать ее счастливой.

В одно декабрьское утро Лемордан подошел к Люсьену, в руке он держал какую-то бумажку. «Ты не хочешь подписать?» – спросил он. «Что это?» – «Это против жидов из Высшей нормальной школы; они прислали в «Эвр» гнусную писульку против обязательной военной подготовки, под ней двести подписей. Вот мы и протестуем: нам нужно собрать по крайней мере тысячу фамилий; мы дадим подписать наш протест «сирараты», «флоттарам», «агро», в общем, всей элите». Люсьен почувствовал себя польщенным и спросил: «Это появится в печати?» – «В «Аксьон» наверняка, возможно, и в «Эко де Пари». Люсьен хотел подписать сразу же, но подумал, что это выглядело бы несерьезно. Он взял листок и внимательно его прочел. Лемордан прибавил: «Ты, кажется, не занимаешься политикой, это твое дело. Но ты француз и имеешь право сказать свое слово». Услышав «ты имеешь право сказать свое слово», Люсьен почувствовал, как его буквально пронзила мгновенная необъяснимая радость. Он подписал. На следующий день он купил «Аксьон франсез», но возвания в нем не было. Оно появилось только в четверг, и Люсьен нашел его на второй странице, под шапкой: Молодежь Франции наносит мощный прямой удар по зубам мирового еврейства. Фамилия его была проставлена тут же, компактная, четкая, недалеко от Лемордана, почти такая же чужая, как флеш и флипо, окружавшие ее; казалось, она во что-то обернута. «Люсьен Флерье, – подумал он, – это крестьянская фамилия, истинно французская фамилия». Он прочитал вслух все фамилии, начинающиеся на Ф, и, дойдя до своей, прочел ее словно впервые. Затем сунул газету в карман и, довольный, пошел к себе в комнату. Спустя несколько дней он сам пришел к Лемордану. «Ты ведь занимаешься политикой?» – спросил он. «Я член Лиги, – ответил Лемордан, – ты хоть изредка читаешь «Аксьон»? – «Редко, – признался Люсьен, – до сих пор все это меня не интересовало, но, по-моему, я начинаю меняться». Лемордан смотрел на него без любопытства, с обычным своим непроницаемым видом. Люсьен рассказал ему в самых общих чертах о том, что Бержер называет его «смятеньем». «Ты откуда родом?» – спросил Лемордан. «Из Фероля. У отца там

завод». – «Сколько времени ты там прожил?» – «До второго класса». – «Понятно, – сказал Лемордан, – все очень просто, ты – лишенный почвы. Ты читал Барреса?» – «Читал «Колетту Бодош». – «Это не то, – перебил его Лемордан. – Я сегодня же принесу тебе «Лишенных почв», это книга про тебя. Ты найдешь в ней и свою болезнь, и лекарство от нее». Книга была переплетена в зеленую кожу. На первой странице было проставлено готическими буквами: «Ex libris Andre Lemordant». Люсьен удивился: он никогда не задумывался, как зовут Лемордана.

К чтению он приступил с большим недоверием: уже столько раз они пытались его объяснить; столько раз давали читать книги, предупреждая: «Прочти, это же ты». Люсьен, грустно улыбнувшись, подумал, что он не из тех, кого можно было бы сбить с толку несколькими фразами. Эдипов комплекс, Смятение – все это ребяческие забавы, и как они теперь далеки от него! Но с первых же страниц книга захватила Люсьена: прежде всего в ней не было психологии (он был сыт этой психологией по горло); Баррес рассказывал о молодых людях, которые не были абстрактными, деклассированными личностями, как Рембо или Верлен, они не были больными, как эти праздные светские дамы, которых Фрейд лечил психоанализом. Баррес начинал с того, что помещал их в родную им среду, в родную семью: в провинции они получали хорошее, в твердых традициях воспитание; Люсьен нашел, что Стюрель похож на него. «Да, и все-таки правда, – говорил он себе, – что я – лишенный почвы». Он думал о нравственном здоровье семьи Флерье, о том здоровье, которое приобретается лишь в деревне, об их физической силе (дед его мог согнуть пальцами бронзовую монету); он с умилением вспоминал рассветы в фероле: он вставал, на цыпочках спускался по лестнице, чтобы не разбудить родителей, садился на велосипед, и нежная природа Иль-де-Франса принимала его в свои ласковые объятия. «Я всегда ненавидел Париж», – с чувством думал он. Он прочел также «Сад Береники»; он изредка отрывался от чтения и, устремив глаза в какую-то неясную даль, начинал размышлять: итак, ему снова предлагают выбрать характер и судьбу, способ избавиться от неистощимой болтовни своего сознания, предлагают метод, чтобы определить, кто же ты такой, и оценить себя по достоинству. И конечно же гнусным и похотливым чудовищам Фрейда он предпочел бы то пропитанное деревенскими запахами бессознательное, которое дарил ему Баррес. Чтобы обрести его, Люсьену надо было лишь отказаться от бесплодного и опасного самосозерцания; для этого ему надо было бы изучить почву и подпочву фероля, разгадать смысл его волнистых холмов, спускающихся до самого Сернетта, обратиться к географии населения и истории. Или же просто вернуться в фероль и жить там – Люсьен нашел бы под ногами это бессознательное, безвредное и плодоносное, разлитое по всей ферольской равнине, скрытое в деревьях, ручьях, траве, подобное тому питательному перегибу, в котором Люсьен почерпнул бы наконец силу, чтобы стать хозяином. От этих долгих мечтаний Люсьен пробуждался в сильной экзальтации, а иногда у него даже создавалось впечатление, что он нашел свой путь. Сейчас, когда он молча сидел рядом с Мод, обнимая ее одной рукой за талию, в голове у него звучали слова, обрывки фраз – «возобновить традицию», «земля и покойники», слова глубокие и плотные, неисчерпаемые. «Как это заманчиво», – думал он. И однако он не смел в них поверить: слишком часто его обманывали. Он поделился своими опасениями с Леморданом: «Это было бы слишком прекрасно». – «Милый мой, – ответил Лемордан, – нельзя сразу поверить в то, во что ты жаждешь поверить: для этого нужен практический опыт». Он подумал немного и сказал: «Ты должен прийти к нам». Люсьен всем сердцем принял приглашение, но счел необходимым уточнить, что хотел бы сохранить свою свободу. «Я приду, – обещал он, – но это меня ни к чему не обязывает. Мне нужно осмотреться и подумать».

Люсьен был очарован братством юных «королевских молодчиков»; они оказали ему простой и сердечный прием, и он почувствовал себя с ними легко. Он быстро познакомился с «бандой» Лемордана, в которой насчитывалось десятка два студентов, носивших бархатные береты. Собирались они на втором этаже пивной «Полдер», где играли в бридж и биллиард. Люсьен стал часто бывать с ними в пивной и вскоре понял, что они вполне его приняли, ибо неизменно встречали его криками: «А вот и наш красавчик!» или «Да вот наш Флерье национальный»[5 – Здесь в тексте непереводаемая игра слов: фамилия Флерье (Flenrier) созвучна со словом «Le Flençon», которое означает «украшение», «жемчужина»]. Но особенно пленяло Люсьена их добродушное настроение: ни тени педантизма или строгости, очень мало разговоров о политике. Они смеялись, пели – вот и все; громко орали или били в барабан во славу студенческой молодежи. И сам Лемордан, не подрывая своего авторитета, который никто и не осмелился бы оспорить, немного расслаблялся, иногда позволял себе улыбнуться. Чаще всего Люсьен молчал, его взгляд блуждал по

этим шумным и мускулистым молодым людям. «Это сила», – думал он. Среди них он постепенно открывал истинный смысл молодости: этот смысл уже не заключался в жеманной грации, которую так ценил Бержер; молодость была будущим Франции. Впрочем, товарищи Лемордана не обладали волнующим очарованием юности: они казались взрослыми и многие уже носили бороды. Если внимательно к ним присмотреться, во всех них можно было обнаружить что-то родственное: они покончили с ошибками и сомнениями своего возраста, учиться им было уже нечему, они сформировались. Поначалу их пустые и жестокие шутки немного пугали Люсьена: можно было счесть эти шутки бессознательными. Когда Реми сообщил, что госпоже Дюбу, жене лидера радикалов, грузовиком отдало ноги, Люсьен ожидал услышать хотя бы короткое соболезнование несчастному противнику. Но все они просто помирились со смеху и, хлопая себя ладонями по ляжкам, кричали: «Старая падаль!» и «Слава почтенному водителю!» Люсьен был несколько смущен, но сразу же понял, что этот великий очистительный смех был отказом; они чуяли опасность, они не желали опускаться до трусливой жалости, и они отвергли ее. Люсьен тоже стал смеяться вместе с ними. Постепенно их проказы открылись ему в своем истинном свете; они ведь только внешне выглядели легкомысленными, а по сути были утверждением права: убежденность этих молодых людей была столь глубокой, столь религиозной, что она давала им право казаться легкомысленными, остроумной репликой, дерзкой выходкой низвергать все, что не имеет отношения к главному. Между холодным как лед юмором Шарля Морраса и шуточками, например, Десперро (он таскал в кармане обрывок старого презерватива, который называл крайней плотью Блюма) разница лишь в уровне. В январе университет объявил о торжественном заседании, в ходе которого должно было состояться присвоение звания «*doctor honoris causa*» двум шведским минералогам. «Ты увидишь большую бузу», – сказал Лемордан, вручая Люсьену пригласительный билет. Большой Амфитеатр был переполнен. Когда Люсьен увидел, как под звуки «Марсельезы» в зал входят президент Республики и ректор, у него заколотилось сердце, его охватил страх за своих друзей. И в ту же минуту несколько молодых людей встали на скамьи и громко заорали. В одном из них Люсьен с нежностью узнал красного, как помидор, Реми, который отбивался от двух мужчин, тянувших его за пиджак, и кричал: «Франция французам». Но особенно приятно ему было смотреть на пожилого господина, который с видом расшалившегося ребенка из всех сил дул в маленькую трубу. «Как это целительно!» – подумал Люсьен. Он живо наслаждался этой оригинальной смесью упрямой серьезности и шумного буйства, которая самых юных делает похожими на взрослых, а пожилых превращает в каких-то бесенят. Вскоре и Люсьен тоже попробовал пошутить. Он имел успех, а когда сказал об Эррио: «Если этот умрет в своей постели, значит, больше нет Господа Бога», то почувствовал, как в нем зарождается праведный гнев. Тогда он сжал челюсти и несколько минут ощущал себя таким же убежденным, таким же ограниченным, таким же сильным, как Реми или Десперро. «Лемордан прав, – думал он, – нужен практический опыт, в этом все дело». Он научился также пренебрегать спорами. Гигар, этот жалкий республиканец, засыпал его возражениями. Люсьен из вежливости его слушал, но Гигар говорил не умолкая, и Люсьен даже не смотрел на него; он аккуратно разглаживал складку и разглядывал женщин. Несмотря на это, он кое-что понимал в возражениях Гигара, но они вдруг теряли свою весомость и скользили, не касаясь его, невесомые и никчемные. Пораженный этим, Гигар в конце концов умолкал. Люсьен рассказал родителям о своих новых друзьях, и господин Флерье спросил его, не собирается ли он присоединиться к «молодчикам короля». Люсьен помешкал с секунду и сказал серьезно: «Меня это привлекает, по-настоящему привлекает». – «Люсьен, умоляю тебя, не делай этого, – просила мать, – они ведут себя слишком бурно, и добром это не кончится. Ты хочешь, чтобы тебя избили или посадили в тюрьму? И вообще, ты еще очень молод, чтобы заниматься политикой». Люсьен ответил ей твердой улыбкой, но вмешался господин Флерье. «Оставь его, дорогая, – с нежностью сказал он, – пусть он следует своим убеждениям; ему надо пройти через это». Люсьену показалось, что с этого дня родители стали относиться к нему с особым уважением. Однако он никак не мог решиться; эти несколько недель многому его научили – он вспоминал благожелательный интерес отца, беспокойство госпожи Флерье, нарождающееся уважение Гигара, настойчивость Лемордана, нетерпение Реми и, качая головой, говорил себе: «Это дело нешуточное». Он имел долгий разговор с Леморданом, и Лемордан, прекрасно поняв его соображения, посоветовал ему не торопиться. Приступы хандры все еще накатывали на Люсьена: ему начинало казаться, что он всего лишь крохотный, прозрачно-студенистый комочек, который дрожит мелкой дрожью на банкетке кафе, и шумная суeta «королевских молодчиков» представлялась ему нелепой. Но в иные минуты он ощущал себя твердым и тяжелым, как камень, и был почти счастлив.

Отношения его со всей «бандой» складывались прекрасные. Он спел им песенку «Свадьба Реббеки», которой Эбрар научил его в прошлые каникулы, и все в один голос заявили, что он классный хохмач. Войдя в раж, Люсьен высказал несколько язвительных суждений о евреях и рассказал о Берлиаке, который был страшно скуп: «Я всегда спрашивал себя, ну почему он такой жмот, ведь невозможно быть таким жмотом. И вдруг в один прекрасный день понял: это у него еврейское». Все засмеялись, а Люсьен впал в неистовство: он чувствовал, что он действительно зол на евреев, а воспоминание о Берлиаке было ему глубоко отвратительно. Лемордан посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «У тебя чистая душа». Впоследствии Люсьена часто просили: «Флерье, расскажи-ка нам что-нибудь веселенькое про жидов», и Люсьен рассказывал еврейские анекдоты, которые слышал от отца; стоило ему заговорить с еврейским акцентом, как его друзья начинали хохотать. Однажды Реми и Патенотр рассказали, что встретили возле Сены какого-то алжирского еврея и страшно напугали его, сделав вид, будто собираются бросить его в воду. «Я сказал себе, – заключил Реми, – какая жалость, что с нами нет Флерье». – «Может, это к лучшему, что его там не было, – перебил его Десперро, – ведь он наверняка швырнул бы еврея в Сену!» Люсьену не было равных в распознавании евреев на глазок. Идя с Гигаром по улице, он часто толкал его локтем: «Сразу не оборачивайся, этот маленький толстяк за нами – еврей!» – «Да, – говорил Гигар, – у тебя на них нюх!» Фанни тоже терпеть не могла евреев; по четвергам они вчетвером поднимались в комнату Мод, и Люсьен пел им «Свадьбу Реббеки». Фанни помирала со смеху и просила: «Перестаньте, хватит, а то я сейчас уписаюсь». Когда он замолкал, она одаривала его счастливым, почти влюбленным взглядом. В конце концов в пивной «Полдер» с Люсьеном стали разыгрывать одну и ту же шутку. Всегда находился кто-нибудь, чтобы небрежно обронить: «Да... Флерье обожает евреев...» или «Леон Блюм, большой друг Флерье...», а все остальные замирали в ожидании, охваченные восторгом, затаив дыхание и раскрыв рты. Люсьен делался пунцовым и, стуча кулаком по столу, орал: «Провались они пропадом!», а вся компания корчиться от хохота и скандировала: «Ключнул! ключнул! и наживку проглотил!» Он часто ходил вместе с ними на политические собрания, слушал профессора Клода и Максима Реал дель Сарте. Занятия немного страдали от этих его новых обязанностей, но, поскольку, судя по всему, Люсьен в этом году не мог бы рассчитывать на успех при поступлении в Центральную Школу, господин Флерье проявил к нему снисходительность. «Будет лучше, – сказал он жене, – если Люсьен как следует освоит профессию мужчины». После собраний у Люсьена и его друзей головы шли кругом, они всюду духарились. Однажды – их было десять человек – им повстречался маленький смуглолицый человечек, который переходил улицу Сент-Андре-дез-Арт, на ходу читая «Юманите». Они прижали его к стене, и Реми скомандовал: «Брось газету». Тип стал было кобениться, но Десперро, зайдя со спины, обхватил его сзади и поднял, Лемордан же своей могучей лапой вырвал у него газету. Выглядело все очень весело. Человечек в ярости дрыгал ногами и со смешным акцентом кричал: «Пустите меня, пустите», а Лемордан между тем преспокойно рвал газету на мелкие кусочки. Но едва Десперро опустил человечка на землю, дело начало портиться: тот бросился на Лемордана и ударил бы его, если б Реми не успел врезать ему кулаком по уху. Человечек врезался в стену, но, зло глядя на них, повторял: «Грязные французы!» – «Повтори, что ты сказал», – сухо потребовал Маршессо. Люсьен понял, что сейчас произойдет что-то гнусное. Маршессо не понимал шуток, если они касались Франции. «Грязные французы!» – повторил метек. Получив чудовищную оплеуху, он, пригнув голову, кинулся на них, вопя: «Грязные французы, грязные буржуа, ненавижу вас, чтоб вы сдохли все, все, все!», обрушивая на них поток гнусных оскорблений с такой яростью, которой Люсьен и представить себе не мог. Тут уже они потеряли терпение и сочли себя обязанными взяться за него всем хором, чтобы дать ему хорошую трепку. Когда наконец они его отпустили, человечек с трудом прислонился к стене; он трясясь, от удара кулаком правый глаз у него затек, они же, уставшие, стояли вокруг и ждали, когда он упадет. Тип скривил губы и сплюнул: «Грязные французы!» – «Тебе мало, еще хочешь?» – тяжело дыша, спросил Десперро. Человечек, казалось, не слышал: он вызывающе смотрел на них одним левым глазом и твердил: «Грязные французы, грязные французы!» Наступило минутное замешательство, и Люсьен понял, что друзья его готовы выйти из игры. Это оказалось сильнее его; он прыгнул вперед и ударил его изо всех сил. Он услышал, как что-то хрустнуло, а человечек посмотрел на него с жалким, удивленным видом. «Грязн...» – пробормотал он. Его опухший глаз стал похож на красный шар без зрачка; он рухнул на колени и замолк. «Надо мотать отсюда», – прошептал Реми. Бежали они долго и остановились только на площади Сен-Мишель; их никто не преследовал. Они поправили галстуки и, ладонями отряхивая друг друга, привели себя в порядок.

Вечер завершился тем, что молодые люди ни разу не упомянули о своем приключении и были особенно внимательны друг к другу: они отказались даже от той стыдливой грубости, которая обычно служила ширмой их чувств. Они вежливо беседовали, и Люсьен подумал, что они впервые предстали такими, какими, вероятно, бывали в кругу семьи; но сам он очень разнервничался, у него не было привычки драться на улице с хулиганами. Он с нежностью думал о Мод и Фанни.

Он никак не мог уснуть. «Я не могу, – думал он, – продолжать участвовать в их любительских выходках. Теперь все взвешено, и мне надо ввязаться в борьбу». Он чувствовал в себе серьезность и почти религиозную торжественность, когда объявил эту добрую новость Лемордану. «Решено, – сказал он ему, – я с вами». Лемордан похлопал его по плечу, и вся компания отметила это событие распитием нескольких бутылок. Они вновь обрели прежний свой грубый и веселый тон и ни словом не обмолвились о вчерашнем инциденте. И лишь когда они расходились, Маршессо, между прочим, заметил Люсьену: «А рука у тебя тяжелая!», и Люсьен ответил: «А что еще еврею надо!»

Через день Люсьен пришел к Мод с толстой бамбуковой тростью, которую купил в магазине на бульваре Сен-Мишель. Мод сразу все поняла. Она посмотрела на трость и сказала: «Порядок?» – «Порядок!» – улыбнулся Люсьен. Мод казалась довольной; сама она скорее симпатизировала левым, но душа у нее была широкая. «По-моему, – объявила она, – в каждой партии что-то есть». Весь вечер она часто ерошила ему волосы на затылке, называя маленьким фашистом. В один из субботних вечеров Мод почувствовала себя сильно уставшей. «Я должна пойти домой, – сказала она, – но ты можешь подняться ко мне, если дашь слово, что будешь умницей: ты возьмешь меня за руку и будешь очень добрым со своей маленькой Мод, которой сейчас так плохо, ты будешь рассказывать ей интересные истории». Люсьен не чувствовал в себе особого энтузиазма: комнатка Мод наводила на него тоску своими следами заботливо скрываемой бедности, она походила на комнату прислуги. Но упустить столь благоприятную возможность с его стороны было бы преступлением. Едва войдя, Мод бросилась на кровать, вздыхая: «Уфф! Как хорошо», затем, часто заморгав и слегка вытянув губы, посмотрела Люсьену прямо в глаза. Он прилег с ней рядом; прикрыв глаза ладонью и чуть раздвинув пальцы, она сказала ему, по-детски выговаривая слова: «Ку-ку, я тебя вижу, Люсьен, я тебя вижу!» Он чувствовал себя отяжелевшим и вялым, она вложила ему пальцы в рот, и он принялся сосать их, затем засюсюкал приторно-нежно: «Маленькая Мод больна, как она несчастна, бедная крошка Мод!» – и при этом ласкал ее тело; закрыв глаза, она улыбалась загадочной улыбкой. Наконец он задрал ее платье и.. вдруг обнаружил, что они занимаются любовью; Люсьен подумал: «А все-таки я молодец». «Ну вот, – сказала Мод, когда они закончили, – если бы я только могла знать!» Она смотрела на Люсьена с мягким упреком: «Гадкий мальчишка, я думала, ты будешь умницей!» Люсьен сказал, что для него все это было столь же неожиданно, как и для нее. «Как-то само вышло», – сказал он. Она слегка задумалась и серьезно сказала ему: «Я ни о чем не жалею. Раньше, возможно, и было чище, но все было не так полно».

«У меня есть любовница», – думал Люсьен в метро. Он чувствовал пустоту и усталость и, казалось, весь был пропитан запахом абсента и свежей рыбы; сидеть он старался очень прямо, чтобы не прикасаться насквозь промокшей потом рубашкой к сиденью; тело его было словно вымазано простоквашей. Он повторил про себя: «У меня есть любовница», но чувствовал себя обманутым; что ему нравилось в Мод еще вчера, так это ее узкое и твердое лицо, у которого был такой одетый вид, ее тоненькая фигурка, гордый взгляд, репутация серьезной девушки, презрение к мужчинам, все, что делало ее столь своеобразной, личностью воистину другой, устойчивой и определенной, всегда недостижимой, со всем своим достоинством, целомудрием, своими шелковыми чулками, креповой юбкой, перманентом. И весь этот камуфляж рухнул в его объятиях, и осталась одна голая плоть; он приблизился к губам этого безглазого лица, такого же голого, каким бывает живот, вкусил от плода этого влажного тела. Он вновь и вновь видел это слепое существо, которое извивалось на простыне, зевая волосатой бездной, и думал: это были мы вдвоем. Они были единым целым, он не мог более различить свое тело, отделить его от тела Мод; никто и никогда не вызывал в нем столь остро, тошнотворного ощущения близости, кроме, быть может, Рири, когда тот показывал ему за кустом свою пиписку или когда, описавшись, лежал на животе, дрыгая ногами, с голой попкой, и дожидался, когда высохнут его штанишки. Вспомнив о Гигаре, Люсьен почувствовал некоторое утешение; он скажет ему завтра: «Я спал с Мод, старик, она великолепна, что-что, а это у нее просто в крови». Но ему было не по себе: погруженный в пыльную духоту

метро, он болезненно ощущал наготу своего несчастного тела, совершенно голого под тоненькой кожей одежды, голого и одеревеневшего рядом с этим священником, перед этими двумя пожилыми дамами; действительно, длинная, мокрая спаржа.

Гигар от души его поздравил. Он уже начинал порядком уставать от Фанни: «У нее чудовищный характер. Вчера она весь вечер на меня дулась». Оба сошлись в одном: да, конечно, подобные женщины должны существовать, так как нельзя же оставаться девственником до самой женитьбы, и что они, эти женщины, не больны и не корыстны, но привязываться к ним – большая ошибка. Гигар с воодушевлением заговорил о настоящих девушках, и Люсьен справился о том, как поживает его сестра. «Неплохо, старик, – ответил Гигар, – она говорит, что ты совсем забросил старых друзей». – «Знаешь, – добавил он чуть небрежно, – я очень рад, что у меня есть сестра: ведь тогда на многое в жизни смотришь иначе». Люсьен был с ним совершенно согласен. В дальнейшем они часто беседовали о юных девушках, ощущая, как души их переполняют нежные поэтические чувства, и Гигар любил повторять слова одного из своих дядей, пользовавшегося большим успехом у женщин: «Возможно, в своей жизни я не совершил ничего хорошего, но от одного Господь меня уберег; я скорее дал бы отрезать себе руку, чем тронул невинную девушку». Они вновь стали бывать у подруг Пьеретты. Пьеретта очень нравилась Люсьену, он говорил с ней, как старший брат, слегка поддразнивая, и был признателен ей за то, что она не обрезала своих длинных волос. Его очень поглощала политическая активность, утром по воскресеньям он продавал «Аксьон Франсез» перед собором де Ноилли. В течение более чем двух часов Люсьен ходил вверх-вниз по улице с выражением твердости на лице. Девушки, выходящие с мессы, иногда стреляли в него своими красивыми честными глазками, и тогда Люсьен, чувствуя себя чистым и сильным, позволял себе слегка расслабиться и улыбался в ответ. Он сказал ребятам, что уважает женщин, и был рад найти у них столь желанное ему понимание. Кстати, почти у всех были сестры.

Семнадцатого апреля Гигары устроили вечеринку с танцами по поводу восемнадцатилетия Пьеретты, и Люсьен, естественно, был приглашен. С Пьереттой они уже были большие друзья, она называла его своим кавалером; он подозревал, что она немножечко в него влюблена. Госпожа Гигар пригласила тапера, так что вечер обещал быть очень веселым. Люсьен станцевал несколько танцев с Пьереттой, затем пошел к Гигару, который принимал своих друзей в курительной. «Привет, – сказал Гигар, – по-моему, все знакомы друг с другом: Флерье, Симон, Ванусс, Ледуз». Пока Гигар называл имена своих товарищей, Люсьен увидел, как какой-то высокий молодой человек с рыжими кудрявыми волосами, молочно-белой кожей и густыми черными бровями нерешительно направился к ним, и гнев обуял его. «Что нужно здесь этому типу? – спрашивал он себя. – Ведь Гигар прекрасно знает, что я не выношу евреев!» Он развернулся и поспешно, чтобы избежать скандала, вышел из комнаты. «Кто этот еврей?» – спросил он чуть погодя Пьеретту. «Это Вейль, он учится в Высшей коммерческой школе, они с братом вместе занимаются фехтованием». – «Я страшно боюсь евреев», – сказал Люсьен. Пьеретта издала легкий смешок. «Но это исключительно милый мальчик, – сказала она. – Проводи меня в буфет». Люсьен выпил чуть-чуть шампанского и не успел даже поставить бокал, как он очутился лицом к лицу с Гигаром и Вейлем. Метнув на Гигара испепеляющий взгляд, он отвернулся. Но Пьеретта схватила его за руку, и Гигар подступил к нему с вполне простодушным видом. «Мой друг Флерье, мой друг Вейль, – сказал он непринужденно, – вот я вас и представил». Вейль протянул руку, и Люсьен почувствовал себя ужасно скверно. К счастью, он вспомнил вдруг Десперро: «Уж Флерье наверняка швырнул бы этого еврея в Сену». Вложив руки в карманы, он повернулся спиной к Гигару и вышел. «Я не смогу больше бывать в этом доме», – думал он, спрашивая в гардеробе свое пальто. Гордость его была уязвлена. «Вот что значит твердо придерживаться принципов; становится невозможным жить в обществе». Но на улице спеси у него заметно поубавилось, и на душе стало очень тревожно. «Гигар, должно быть, взбешен!» Он покачал головой и постарался сказать себе убедительно: «Он не имел права приглашать еврея, если собирался пригласить меня!» Но весь гнев его куда-то улетучился, с чувством мучительной неловкости он вспомнил удивленное лицо Вейля, его протянутую руку и начал уже склоняться к примирению: «Пьеретта, наверное, думает, что я хам. Я должен был пожать ему руку. В конце концов это меня ни к чему не обязывало. Надо было сдержанно поздороваться и тут же уйти – вот как следовало поступить». Он спрашивал себя, возможно ли было еще вернуться к Гигарам. Он подошел бы к Вейлю и сказал: «Извините меня, я себя плохо чувствовал», он пожал бы ему руку и немного поболтал с ним вежливо. Но нет, было слишком поздно, его поступок был непоправим. «И кто меня просил, – с

раздражением думал он, – продемонстрировать свои взгляды людям, которые не способны их понять!» Он нервно пожал плечами: это была катастрофа. В эту самую минуту Гигар и Пьеретта обсуждали его поведение, Гигар говорил: «Он законченный болван!» Люсьен сжал кулаки. «О! – думал он в отчаянии, – как я их ненавижу! Как я ненавижу евреев!» – и попытался вложить побольше силы в созерцание этой своей бесконечной ненависти. Но она рассыпалась под его взглядом, и напрасно он старался думать о Леоне Блюме, который получал деньги от немцев и ненавидел французов, он не чувствовал в себе ничего, кроме уныния и безразличия. Люсьену посчастливилось застать Мод у себя. Он сказал ей, что любит ее, и несколько раз с какой-то яростью овладел ею. «Все кончено, – думал он, – я никогда не стану кем-то». – «Нет, нет! – говорила Мод. – Остановись же, мой большой непослушный мальчик, не надо, этого нельзя делать!» Но затем она все же сдалась: Люсьен хотел целовать ее тело всюду. Он чувствовал себя порочным ребенком, ему хотелось плакать.

На следующее утро в лицее при виде Гигара у Люсьена защемило сердце. Вид у Гигара был замкнутым и сосредоточенным, и он притворялся, что не замечал его. Люсьен был так взбешен, что не мог даже вести записи. «Скотина! – думал он. – Скотина!» После уроков Гигар подошел к нему, он был бледен. «Если сейчас он начнет читать мне мораль, – подумал Люсьен в страхе, – я его ударю». Они стояли какое-то время друг против друга, уставившись на носки своих туфель. Наконец Гигар заговорил изменившимся голосом: «Извини меня, старик, я не хотел тебя обижать». Люсьен вздрогнул и недоверчиво посмотрел на него. Но Гигар продолжал через силу: «Я познакомился с ним в манеже, ты понимаешь, ну, в общем, я хотел... мы фехтовали вместе, он приглашал меня к себе, но, я понимаю, я не должен был так делать, не знаю, как все получилось, но, когда я составлял приглашения, я не подумал, что...» Люсьен молчал, слова не приходили ему в голову, но он чувствовал, как снисхождение начинает переполнять его. Гигар добавил, опустив голову: «Ну так, это недоразумение...» – «Да, конечно, простая оплошность, – сказал Люсьен, хлопывая его по плечу. – Я прекрасно знаю, что ты сделал это не нарочно». И он продолжил великодушно: «Впрочем, я тоже хорош. Я вел себя, как какой-то хам. Но что поделаешь, это сильнее меня, я не могу до них дотронуться, это что-то физическое, у меня такое чувство, как будто на руках у них чешуя. А что сказала Пьеретта?» – «Она смеялась, как сумасшедшая», – сказал Гигар жалобно. «А этот тип?» – «Он все понял. Я объяснил ему, как мог, и через четверть часа он отчалил». Он добавил, все еще сконфуженный: «Родители сказали, что, в сущности, ты был прав, ты не мог поступить иначе, так как вопрос касался твоих убеждений». Люсьен просмаковал мысленно слово «убеждения», ему хотелось изо всех сил сжать Гигара в своих объятиях. «Все это ерунда, старик, – сказал он, – сущая ерунда, главное, что мы остаемся друзьями». По бульвару Сен-Мишель он спускался в какой-то необыкновенной экзальтации: ему казалось, что он не был больше самим собой.

Он говорил себе: «Странно, но это уже не я, я не узнаю себя!» Было тепло и спокойно; вокруг гуляли люди с первыми весенними улыбками удивления на лицах; и эту мягкую безвольную толпу стальным клином рассек Люсьен, он думал: «Это уже не я». Еще вчера это я было каким-то большим, раздутым, похожим на ферольских кузнечиков насекомым, сейчас же Люсьен чувствовал себя ясным и цельным, как хронометр. Он вошел в «Ля Сурс» и заказал перно. Компания не посещала «Ля Сурс», потому что здесь было полно метеков; но сегодня метеки и евреи не доставляли неудобств Люсьену. Среди этих оливкового цвета тел, шумевших глухо, как овсяное поле под ветром, он чувствовал себя необыкновенным, грозным, подобным чудовищно ослепительно блестящим часам, прислоненным к стулу. Он повеселел немного, узнав маленького еврея, которого «Ж. П.» поколотили в прошлом семестре в коридоре факультета права. На маленьком чудовище, толстом и задумчивом, не осталось уже никаких следов от побоев; помятое на некоторое время, оно вновь приняло свою естественную округлую форму, но на нем отпечаталась какая-то непристойная безропотность.

В эту минуту у Люсьена был счастливый вид: он зевнул сладострастно; луч света щекотал ему ноздри; он почесал нос и улыбнулся. Была ли это улыбка? Или скорее легкое колебание, которое родилось где-то там, внутри, в дальнем уголке зала и затухло на его губах? Все эти метеки плавали в какой-то мутной, тяжелой жидкости, волны которой сотрясали их вялые тела, поднимали их руки, двигали их пальцами и едва заметно играли их губами. Бедняги! Люсьен даже жалел их. Что нужно было им здесь во Франции? Каким морским течением прибило их сюда? Напрасно они старались одеваться прилично, заказывая костюмы у портных с бульвара Сен-Мишель, они оставались всего

лишь медузами. И Люсьен подумал, что он не был медузой, не принадлежал к этой смиренной фауне, он сказал себе: «Я просто нырнул сюда!» А потом вдруг он забыл и «Ля Сурс», и этих метеков, и он увидел спину, широкую и мускулистую, которая удалялась от него, исполненная уверенной силы, неумолимо погружаясь в туман. Тут же стоял Гигар, бледный, он провожал глазами эту спину, он говорил невидимой Пьеретте: «Да, но это же недоразумение!..» Почти невыносимая радость охватила Люсьена: эта могучая и одинокая спина была его спиной! И это произошло вчера! В течение одного мгновения ценой невероятного усилия ему удалось стать Гигаром, он видел свою собственную спину глазами Гигара, перед самим собой он испытывал унижение за Гигара и пережил приятное чувство испуга. «Это должно послужить ему уроком!» – подумал он. Обстановка переменялась: теперь это был будуар Пьеретты и дело происходило в будущем. Пьеретта и Гигар с озабоченными лицами вписывали в пригласительный билет чье-то имя. Люсьена с ними не было, но над ними довлела его могучая и непреклонная личность. Гигар говорил: «Ах нет, не это! Было бы смешно, с Люсьеном, который не выносит евреев!» Люсьен еще раз окинул взглядом и подумал: «Люсьен – это я! Тот, кто не выносит евреев». Эту фразу он произносил не впервые, но сегодня она звучала не так, как обычно. Совсем нет. Конечно, на первый взгляд это была простая констатация, как если бы кто-то сказал: «Люсьен не любит устриц» или «Люсьен не любит танцевать». Но не следовало заблуждаться на этот счет: любовь к танцам, обнаружить которую, вероятно, можно было бы и у этого маленького еврея, значила не больше, чем дрожь какой-то медузы; достаточно было хоть раз взглянуть на этого чертова жида, чтобы понять, что его любовь или нелюбовь принадлежали ему так же, как его запах, как отблеск его кожи, и что они исчезли бы вместе с ним, как морганье его тяжелых век и как эта его липкая и сладострастная улыбка. Антисемитизм же Люсьена был совсем иного сорта: безжалостный и чистый, он торчал из него, как стальной клинок, опасный для вражеской груди. «Это, – думал он, – это... это святое!» Он вспомнил, как его мать, когда он был маленьким, говорила ему иногда особым тоном: «Папа работает у себя в кабинете». И фраза эта казалась ему магическим заклинанием, которое накладывало на него множество по-религиозному торжественных обязанностей, таких, как не играть своим воздушным ружьем, не кричать «Тарарабум»; и он ходил по коридорам на цыпочках, словно в каком-то соборе. «Пришел мой черед», – думал он с удовлетворением. Уже говорили, понизив голос: «Люсьен не любит евреев», и люди чувствовали себя парализованными, пронзенными целой тучей маленьких болезненных стрел. «Гигар и Пьеретта, – подумал он растроганно, – просто дети». Они сильно провинились, но Люсьену достаточно было лишь чуть-чуть показать зубы, и они тотчас в этом раскаялись, и заговорили шепотом, и заходили на цыпочках.

Люсьен во второй раз ощутил прилив восхитительного чувства уважения к самому себе. Но на этот раз ему уже не понадобились глаза Гигара: это в своих же собственных глазах он выглядел таким, в глазах, которым удалось наконец преодолеть цепи его телесной оболочки, его вкусов, привычек и настроений. «Там, где я искал себя, – думал он, – я и не мог бы себя найти». Сколько раз он пытался честно и детально исследовать все, что составляло его я. «Но если бы я не был тем, что я есть, то цена мне была бы не больше, чем этому маленькому жидку». Копаясь так в этой слизистой интимности, можно ли было найти что-нибудь, кроме тоски тела, гнусных заблуждений о равенстве, беспорядка? «Наипервейшее правило, – думал Люсьен, – не пытаться заглянуть в себя; нет более опасной ошибки». Настоящего Люсьена – теперь он знал это – следовало искать в глазах других, в робкой покорности Пьеретты и Гигара, в полном надежды ожидании всех тех, кто рос и созревал для него, этих юных подмастерьев, его будущих рабочих, ферольцев больших и малых, мэром которых он должен был когда-то стать. Люсьен почти уже боялся, ему казалось, что он гораздо старше самого себя. Столько вокруг людей ожидало его, и он, он был и всегда будет этим нетерпеливым ожиданием других. «Это и есть быть хозяином», – думал он. И он вновь увидел мускулистую и чуть сутулую спину и сразу вслед за этим собор. Он находился внутри собора и бродил бесшумно под процеженным витражами светом. «Да ведь это же я сам и есть этот собор!» Он остановил невидящий, напряженный взгляд на своем соседе, длинном, как сигара, коричневом и сухом кубинце. Нужно было найти точные слова, чтобы выразить это сделанное им чрезвычайно важное открытие. Он медленно и осторожно, словно стараясь не погасить зажженную свечку, поднес ко лбу свою руку, сосредоточился на мгновение в священной задумчивости, и долгожданные слова пришли сами, он прошептал: «Я имею право!» Право! Это было чем-то из области треугольников и окружностей; оно было настолько совершенным, что даже и не существовало вовсе; можно было сколько угодно раз пытаться описать циркулем окружность,

Сартр Жан-Поль Детство хозяина filosoff.org

и ничего это ровным счетом бы не изменило. Целые поколения рабочих могли скрупулезно выполнять указания Люсьена, они были не в состоянии исчерпать его права распоряжаться; права, они были вне существования, как математические объекты или религиозные догмы. И вот чем в сущности был Люсьен – огромной совокупностью обязанностей и прав. Долгое время ему казалось, что существовал он в силу какого-то случая, как его продукт; но ошибка эта была лишь следствием его неумеренных размышлений. Задолго до его рождения ему уже было уготовлено место под солнцем, в Фероле. Давно – гораздо раньше даже женитьбы его родителей – его уже ждали; и если он пришел в этот мир, так только лишь затем, чтобы занять это место. «Я существую, – думал он, – потому что имею право существовать». И наверно, впервые взору его открылась предназначенная ему светлая и славная судьба. Он поступит в Центральную Школу (раньше или позже, это не имело никакого значения). Он бросит Мод (она все время хотела спать с ним, это становилось невыносимым; их перемешанные тела испускали в эти знойные душные дни начала весны запах чуть подгоревшего кроличьего фрикассе. «И потом, Мод – ведь она для всех, сегодня моя, завтра кого-то другого, во всем этом нет никакого смысла»); он поселится в Фероле. Где-то во Франции жила чистая, светлая девушка, похожая на Пьеретту, юная провинциалочка с ясными глазами, которая сохраняла для него свою невинность; она пыталась иногда представить своего будущего господина, этого ужасного и ласкового мужчину; но ей никак это не удавалось. Девственница, какими-то сокровенными тайниками своего тела она признавала право Люсьена быть ее единственным обладателем. Он женится на ней, она будет его женой, и это самое трогательное из всех его прав. Когда же вечером медленными и торжественными движениями она станет раздеваться, это будет как принесение жертвы. Он обнимет ее со всеобщего одобрения и скажет: «Ты моя!» То, что она поднесет ему, она будет обязана поднести лишь ему одному, и акт любви станет для него сладострастной инвентаризацией всех этих благ. Его самое трогательное право, самое интимное право на уважение своей плоти и на подчинение даже в своей кровати. «Я женюсь молодым», – подумал он. Он решил, что у него будет много детей; затем он стал думать о работе отца: ему не терпелось продолжить ее, и он спрашивал себя, а что, если господин Флерье вдруг умрет.

Часы на улице пробили полдень, Люсьен встал. Метаморфоза была завершена: всего лишь час назад в кафе вошел нежный и робкий подросток, а выходил из него мужчина, один из хозяев Франции. Люсьен прошел несколько шагов и вступил в залитый лучами славы яркий французский день. На углу улицы Эколь и бульвара Сен-Мишель, подойдя к писчебумажному магазинчику, он посмотрел в зеркало: он надеялся увидеть на своем лице то непроницаемое выражение, которое так восхищало его в Лемордане. Но зеркало отразило лишь щуплое радменное личико, которое совсем не казалось грозным. «Я отпускаю усы», – решил он.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!